

с любовью
к тебе
девушка
в красном



Аврора Лейн

Аврора Лейн

**С любовью к тебе
девушка в красном**

«Автор»

2026

Лейн А.

С любовью к тебе девушка в красном / А. Лейн — «Автор», 2026

Время не бывает справедливым. Оно не взвешивает, сколько ты любил, сколько ночей не спал, сколько слов так и не сказал. Оно просто идёт вперёд, унося с собой вспышки счастья и оставляя вместо них память — тяжёлую, точную, безжалостно подробную. Он помнил всё: запах дождя в тот вечер, когда она смеялась; цвет платья, который потом стал для него синонимом и счастья, и боли; тишину после её ухода, которая звучала громче любого крика. И он пытался удержать это время, как пытаются удержать воду в ладонях, — и каждый раз оно утекало сквозь пальцы. А рядом, в его настоящей жизни, время текло иначе — спокойно, буднично, почти незаметно. В нём не было вспышек, но в нём была надёжность. В нём была жена, которая не спрашивала, почему он молчит, а просто наливала ему чай. И эта книга — о том, как научиться ценить не только то, что обжигает, но и то, что согревает.

© Лейн А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	29
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Аврора Лейн

С любовью к тебе девушка в красном

Глава 1

За окном снег.

Не тот снег, который падает красиво, медленно, как в кино — нет. Просто серый снег на сером асфальте, под серым небом, которое давно уже не помнит, каким бывает другой цвет. Лес на краю города стоит тёмной стеной, и деревья не покачиваются, потому что ветра нет. Потому что здесь никогда ничего не происходит. Потому что это мой город, и я знаю каждый его угол, каждую трещину в бетонных плитах у гаража, каждый столб вдоль дороги, по которой езжу уже столько лет, что перестал считать.

Я стою у окна и смотрю на всё это.

Девушка в красном, ты не знаешь, как выглядит этот город зимой.

Я никогда тебе не показал.

Я думал об этом сегодня — рано, когда ещё не рассвело толком и окно было просто тёмным прямоугольником, в котором отражалась комната. Думал, что мог бы. Что мог бы однажды привезти тебя сюда, в эту серость, показать тебе эти деревья, этот снег, который не красивый, — и посмотреть на твоё лицо. Как ты смотришь на то, что я принимаю как данность. Но я не привёз тебя. Я не сделал много чего, что мог бы.

За спиной что-то говорит голос.

Я слышу его — звук слов, их интонацию, вопросительную ноту в конце. Не слова. Слова уходят мимо, как всё здесь уходит мимо последнее время, как вода уходит в землю, и земля остаётся сухой.

Потом на столе появляется чашка.

Я слышу, как она опускается на деревянную поверхность — тихий, обжитой звук, звук, который я слышал тысячу раз. Она ставит чашку и смотрит на меня, и я поворачиваюсь, и улыбаюсь. Я умею улыбаться. Я научился этому так хорошо, что иногда сам не успеваю поймать момент, когда это перестаёт быть настоящим.

— Спасибо, — говорю я.

Она кивает. Что-то отвечает — что-то тёплое, домашнее, моё. Уходит обратно на кухню, и я снова поворачиваюсь к окну.

Чашка горячая. Я держу её двумя руками, и тепло идёт в ладони, и это единственное тепло, которое я сейчас чувствую по-настоящему, без поправок, без зазора между тем, что снаружи, и тем, что внутри.

Я выгляжу счастливым, я знаю.

Люди говорят об этом — те, кто нас видит вместе, кто приходит в гости, кто встречает нас в магазине или на заправке. Говорят: хорошо выглядишь. Говорят: всё у вас ладно. Я отвечаю что-то правильное и улыбаюсь, и это правда — снаружи всё ладно. Дом стоит. Машина заводится. Гонки идут своим чередом. Зима пришла, как и должна была прийти.

Только вот внутри — выжженное поле.

Я не знаю, как ещё это назвать. Не боль — боль это когда что-то болит, когда есть место, которое можно нащупать и сказать: вот здесь. А это не так. Это просто — ничего. Пустое пространство там, где раньше что-то было. Не горе, потому что горе проходит, люди говорят, что горе проходит, и я им почти верю. Это другое. Это как поле после пожара: земля чёрная, ровная, и ни одного ростка, и ты идёшь по ней, и под ногами хрустит, и ты знаешь, что нужно как-то убрать обломки — только не знаешь, зачем, если всё равно ничего не вырастет.

Снег за окном лежит тихо.

Лес не шевелится.

Каждый раз, когда телефон на подоконнике освещается уведомлением, я смотрю на него раньше, чем успеваю не смотреть. Каждый раз — долю секунды — внутри что-то сжимается. Ждёт. Я даже не знаю, чего именно жду, потому что ты не напишешь, ты никогда не напишешь, — и я это знаю, — но та доля секунды всё равно есть, она никуда не делась, и, наверное, это самое честное, что во мне осталось.

Городок живёт своей жизнью за стеклом.

Где-то проехала машина — я вижу её тень, слышу двигатель, потом тишина снова закрывается, как вода над камнем. Собака пробежала вдоль забора напротив. Фонарь мигнул один раз и успокоился.

Ты никогда не видела этого.

Девушка в красном, ты никогда не стояла вот здесь, у этого окна, не держала в руках такую чашку, не смотрела на этот лес, который зимой совсем не красивый, — просто тёмный и тихий и свой. Я не показал тебе ничего из того, что было бы по-настоящему моим. Я давал тебе ночи, которые нельзя было назвать вслух, — и прятал от тебя всё остальное. Или прятал тебя от всего остального. Я до сих пор не понял, как это называется правильно.

На кухне звякнула посуда.

Жизнь продолжается. Она продолжается со своей посудой, со своим голосом, со своим теплом, которое настоящее, — я не вру, оно настоящее, — и я стою здесь и держу горячую чашку, и за окном серый снег, и поле внутри меня выжженное, и по нему всё ещё больно идти, хотя идти нужно, хотя другого пути нет.

Я пью кофе.

Смотрю, как серое небо висит над лесом, и лес не двигается, и снег лежит тихо.

И думаю о тебе.

* * *

Она ушла в другую комнату, и я услышал, как там стихло — тихое шуршание, потом ничего, потом где-то щёлкнул выключатель. Просто жизнь, которая продолжается за стеной. Я остался один с этой чашкой, с этим окном, с этим лесом, который не двигается.

Сел за стол.

Посмотрел на руки.

Не знаю, зачем люди смотрят на свои руки, когда не знают ответа. Наверное, надеются, что там написано что-то — в линиях, в шрамах, в мозолях от руля. У меня на правой ладони — старый след от того падения на кольцо, три года назад, уже почти не видно. На левой — просто рука. Широкая, с короткими пальцами, немного заветренная от зимних тренировок. Чужая немного. Я смотрел на неё и думал: ты же должна знать, что делать. Ты же держала всё это время руль, ты же знаешь, как держаться на скорости. Ну скажи мне.

Руки молчали.

Я миллион раз начинал этот разговор с тобой. Миллион раз, и ни одного — вслух.

В машине на гонках — когда шум двигателя глушит всё, и можно говорить, и никто не услышит, и я говорил. Вернее, я думал, что говорю. Открывал рот и — не знаю — что-то внутри закрывалось раньше, чем слово успевало стать словом. В темноте, когда не мог уснуть, — ты лежала рядом в той единственной ночи, когда я позволил себе думать, что, может быть, есть выход, — и я смотрел в потолок и разговаривал с тобой в голове часами. Ты отвечала там как-то. Понятно — не так, как ответила бы на самом деле, но хоть как-то. В голове ты не уходила.

А потом ты ушла.

И разговор остался внутри, как всегда, как всегда, как всегда.

Я пробовал начинать его снова уже после. В душе, в машине, в ту ночь, когда приснилось, что догоняю тебя по какой-то улице, и ноги не идут, и ты не оборачиваешься, и я кричу —

или думаю, что кричу — и просыпаюсь в темноте с сухим горлом. Пробовал начинать. Всегда замолкал. Не потому что не было слов. Слов было слишком много, вот в чём дело. Столько слов, что они мешали друг другу, давили, и в итоге не выходило ни одного.

Снег за окном лёг плотнее.

Фонарь на улице гудит еле слышно — я только сейчас это заметил, хотя, наверное, гудит давно.

Я расскажу тебе.

Не потому что ты услышишь. Ты не услышишь — ты где-то в большом городе, среди другого света, другого воздуха, среди жизни, которую выстраиваешь без меня, — и правильно, — и это хорошо, — и пусть так. Я расскажу не для этого. Я расскажу, потому что иначе это останется только внутри, а там уже нечему гореть. Там уже всё выжженное, я говорил тебе. Выжженное и чёрное и тихое, и по нему можно идти, но нельзя посеять ничего, и я устал ходить по этому полю один.

Значит — расскажу.

Я потерял то, чего так и не получил.

Вот как это звучит вслух. Я потерял то, чего у меня не было. Потерял тебя — а тебя не было моей, никогда не была, ни одной секунды официально, ни одной секунды с чистой совестью. Только ночи, которые нельзя было назвать. Только взгляды, которые я брал исподтишка. Только слово «хотел бы украсть» — помнишь, я сказал, — ты тогда ничего не ответила, только посмотрела, и этот взгляд я тоже унёс внутрь, и он тоже сгорел потом вместе со всем остальным.

Потерял то, чего не было.

И главный вопрос, который я не могу убрать никуда, который лежит у меня под языком каждое утро, каждый вечер, когда телефон светится на подоконнике и я смотрю раньше, чем успеваю не смотреть: мог ли я что-то исправить? Хотел ли?

Вот что меня держит. Не горе, не злость, не то ноющее чувство, у которого даже имени нет приличного. Этот вопрос. Потому что на горе можно найти ответ — время, говорят, всё лечит, — а на вопрос о собственном выборе времени не хватает никогда. Я мог говорить. Мог написать. Мог хотя бы раз сказать тебе — не в голове, не в темноте, не в машине на гонках, а вот так, в лицо: девушка в красном, я люблю тебя, и не знаю, что с этим делать, и, наверное, ничего не могу предложить, но ты должна знать.

Не сказал.

И теперь сижу у этого окна, в этом тихом городке, в этой жизни, которая стоит ровно и правильно снаружи, — и спрашиваю у своих рук ответ, которого они не знают.

Руки молчат.

Лес не двигается.

И я начинаю рассказывать.

* * *

Я не всегда был вот таким.

Это важно. Я хочу, чтобы ты это знала, прежде чем я начну — потому что рассказ о том, как человек теряет, легко превращается в рассказ о человеке, который сам себя жалеет. Я не хочу жалеть себя. Я хочу быть честным, хотя бы здесь, хотя бы сейчас, хотя бы в этом разговоре с тобой, которая меня не слышит.

Итак. До тебя.

До тебя была жизнь. Обычная, не плохая, понимаешь — именно не плохая, это существенно. Городок наш небольшой: три улицы, которые что-то значат, и остальные, которые просто есть. Зима девять месяцев в году, лес со всех сторон, по вечерам фонари желтеют сквозь метель, и всё это не давило — это просто было. Было привычным. Было своим.

У меня была жена. Есть жена — я должен говорить «есть», и я говорю «есть», хотя в этом рассказе, в этом внутреннем рассказе, граница между «было» и «есть» стирается, прости. Она хорошая. Это тоже важно сказать, и я скажу: она хорошая, тёплая, она знает, как я пью кофе, знает, когда меня не трогать, знает мои смешные привычки и мои нехорошие привычки, и она осталась — значит, приняла и те и другие. Между нами было ровно. Не холодно, не пусто — ровно, как дорога, по которой едешь давно и знаешь каждый поворот. Это не плохо. Так живут люди. Так жил я.

Работа, дом, зима, лето — покороче, — снова зима. Круг, который не душил, просто шёл по своей орбите. Я не тосковал. Не просыпался ночами с ощущением, что где-то должно быть иначе. Мне не снились другие города, другие жизни. Я был здесь, и здесь было достаточно.

Было одно место, где я чувствовал что-то острее. Только одно.

Гонки.

Не знаю, как это объяснить человеку, который никогда не сидел за рулём на треке и не слышал, как мир сжимается в одну точку впереди. Это не адреналин — слово слишком дешёвое для этого ощущения. Это что-то ближе к ясности. Когда всё остальное — городок, зима, привычный круг — уходит, и остаётся только секунда, которая сейчас, только руль под ладонями, только край, за который нельзя, и ты идёшь по самому этому краю, и знаешь, что идёшь.

Там я был живым — в том смысле, в каком это слово по-настоящему работает. Острым. Присутствующим. Там не нужно было думать о том, достаточно ли ты чего-то или слишком мало чего-то, или правильно ли ты живёшь и в нужном ли направлении. Там был только трек, и скорость, и это «сейчас».

Всё остальное было ровным.

И мне это подходило. Я не жаловался. Ровность — это тоже дар, если знаешь, как им пользоваться. Я думал, что знаю.

Вот что я хочу, чтобы ты поняла — и что мне самому понять труднее всего: я не был несчастлив. Это не история о человеке, который задыхался и которого спасли. Не та история, в которой ты появилась как воздух в комнате без окон. Нет. Всё было сложнее и потому больнее: я был в порядке. У меня было всё, что нужно, чтобы быть в порядке. Ты не была мне нужна — в том смысле, в котором нужда оправдывает. Ты не закрыла собой пустоту, потому что пустоты не было.

Ты была чем-то другим.

Я не знаю, как это называется. Правда, не знаю — я искал слово, долго искал, перебирал всё, что есть в языке: страсть, одержимость, судьба, случайность — ни одно не ложится точно. Ни одно не описывает ту странную, невыносимую вещь, которая случилась, когда ты вошла в поле моего зрения. Не вспышку — это слишком просто. Не обвал — это слишком разрушительно, хотя разрушение было потом. Что-то медленное и необратимое. Как трещина в стекле, которую сначала не видишь, а потом смотришь — и она уже везде.

Вот где я стоял тогда. Вот каким я был.

Человек из маленького города, с ровной жизнью и острыми гонками, без запроса, без ожидания, — и это, наверное, и есть ответ на вопрос, который ты мне никогда не задавала: почему я? Почему именно так, именно тогда? Потому что именно таких и ломает — не тех, кто ищет, а тех, кто перестал.

Был вечер.

Я помню вечер — не целиком, не картинкой, а ощущением. Был какой-то свет — не тот, что обычно. Был воздух в помещении, который пах иначе, чем должен был пахнуть воздух в нашем городке. Были люди вокруг, которые говорили что-то, смеялись, держали бокалы — я не слышал ничего.

И был красный цвет.

Просто красный. Сначала — просто цвет. Потом — ты.

И всё стало иначе.

Как именно — я расскажу. Я обещал, и я расскажу, хотя рассказывать это — всё равно что идти по тому выжженному полю босиком и знать, что идёшь добровольно. Но я иду. Потому что иначе это останется только внутри, а внутри, как я говорил, уже нечему гореть.

Итак.

Был вечер, и был красный цвет, и была ты.

* * *

Я мог написать ей в ту же ночь.

Она уехала — и я это знал, хотя никто мне не говорил. Просто утром в городе стало на одно присутствие меньше, и это ощущается, когда ты настроен на определённую частоту, — как пропавший звук, который замечаешь только потому, что привык к нему. Тишина была не обычная. Тишина была с её формой внутри.

Я лежал и смотрел в потолок. Телефон лежал рядом. Экран не светился.

Я мог взять его и написать: «Ты уехала?» — просто это. Три слова. Даже не признание, не объяснение — просто вопрос, который мог повиснуть в воздухе и может быть что-то изменить. Но я не взял. Я лежал и думал: завтра. Завтра я напишу, когда пойму, что именно.

Завтра я тоже не понял.

Прошла неделя. Я открывал наш с ней диалог — там было несколько коротких сообщений, ничего значащих, обрывки, которые ничего не доказывают постороннему глазу. Я смотрел на последнее её слово — кажется, одно слово, или смайл, или вообще ничего, я уже не помню точно — и думал: надо написать. Надо написать что-нибудь. Хоть что-нибудь. Что ты в порядке. Что я думаю о тебе. Что мне жаль.

Я не писал.

Потом был месяц. Потом — ещё один. Каждый раз приходило уведомление — от кого угодно, от жены, от ребят с трассы, от кого-то по работе, — и каждый раз что-то в груди делало этот тупой, бессмысленный прыжок: вдруг она. Вдруг именно сейчас она написала первой, и мне не нужно будет начинать самому, не нужно будет искать слова, и всё само решится, потому что она умнее меня и она всегда знала, как говорить. Но это была не она. Это никогда не была она.

А я так и не открыл новое сообщение.

Что я мог сказать? Я перебираю это сейчас, честно перебираю, как перебирают камни на пустой дороге — один за другим, разглядывая каждый. Мог написать: люблю тебя. Мог. Три слова — другие три слова, но тоже только три. Мог написать: прости. Мог написать: ты была права уйти. Мог написать: я не знаю, что делать с тем, что ты оставила внутри, — скажи мне, что с этим делать. Хоть что-то из этого было бы правдой. Хоть что-то из этого было бы лучше, чем ничего.

Но вот в чём дело — и вот здесь мне становится труднее всего, потому что я добрался до части, которую не хочется трогать, — оправдание разрушается само. Я пробую сказать: я не знал, что сказать. Но это неправда. Слова были. Слов было много — слишком много, они копились и давили изнутри, и иногда по ночам я проговаривал их в темноту, в потолок, в никуда, как будто это засчитывалось. Слова были. Их было достаточно.

Я просто их не отправил.

И теперь — теперь, когда прошло столько времени, что уже неловко считать, — я сижу с этим и пробую ответить на вопрос, который страшнее всего: а хотел ли я исправить?

Хотел ли я — по-настоящему хотел — чтобы было иначе?

Я хотел, чтобы она была рядом. Это правда, это я могу сказать без оговорок: я хотел просыпаться и знать, что она в том же городе, дышит тем же воздухом, что, может быть, сегодня вечером мы окажемся в одном пространстве и я снова увижу красный. Это я хотел — этого

хотел кожей, костями, тем глупым и не поддающимся объяснению местом внутри, где живёт всё, что не умещается в слова.

Но был ли я готов платить за это цену?

Я не знаю. Вот честный ответ, и он меня не красит, и я его всё равно даю: я не знаю. Потому что цена была реальной. Цена была — жизнь, которая у меня уже была, и человек рядом, который её заслуживал, и привычка, и тихая ровность, которой я дорожил, хотя не признавался себе в этом. Цена была — стать тем, кто разрушает, а не тем, кто держит. Цена была — неизвестность с той стороны: а вдруг она не хотела этой цены от меня? Вдруг она уехала именно потому, что видела меня насквозь — видела, что я не выберу — и решила избавить нас обоих от сцены, в которой я делаю вид, что выбираю?

Может, она была умнее нас обоих. Может, её молчание было ответом на молчание, которое я ещё только собирался совершить.

Но это тоже оправдание. Я слышу, как оно звучит. Я знаю, как выглядит человек, который объясняет своё бездействие чужой мудростью. Красиво выглядит. Удобно.

Выжженное поле.

Я думал раньше — пока боль была острее и я ещё мог позволить себе злиться, — что это она его выжгла. Что она пришла, и разгорелась, и ушла — и оставила пепел. Так удобнее думать. Она — как стихия, я — как земля, которую стихия прошла и оставила голой.

Но нет.

Она не жгла. Она горела — это правда, я видел это, я грелся об это, — но она не жгла меня. Это сделал я. Молчанием. Тем, что каждый раз, когда можно было сказать что-то важное, я говорил что-то безопасное или не говорил ничего. Тем, что держал её на расстоянии, которое казалось мне защитой, а было удушением. Тем, что выбирал не выбирать — снова и снова, раз за разом, — и думал, что это не выбор, а просто пауза.

Пауза затянулась в молчание. Молчание затянулось в её отсутствие. Отсутствие затянулось в это.

Я сам поджёг. Я сам стоял и смотрел, как горит. А потом удивился, что земля чёрная.

Вот что я хотел, чтобы ты знала, девушка в красном: это не ты сделала то, что теперь внутри. Это я. Я строил это поле каждым днём, когда не писал, и каждой ночью, когда не звонил, и каждым утром, когда говорил себе — завтра. Ты только ушла — что было единственно разумным, что можно было сделать с таким человеком, как я.

И я до сих пор не знаю, простил ли я себя за это.

Скорее всего, нет. Скорее всего, это и есть та вещь, с которой я иду каждый день — не потеря тебя, а знание о себе, которое ты сделала невозможным не замечать.

Я хотел тебя спасти. Я хотел тебя от чего-то вылечить — от той боли, которую ты носила в себе и которую я видел сквозь красный и блеск и улыбку, которой ты встречала всё, что было не за закрытой дверью. Я думал об этом — думал о твоей боли, думал, как бы мне стать тем, кто её уберёт.

И не сделал ничего.

Даже этого.

* * *

— Ужинать, — говорит она из кухни.

Я встаю. Иду. Сажусь на своё место — то самое, которое всегда моё, у окна, где зимой тянет холодом от стекла и надо подвигать стул чуть правее, чтобы не мёрзла спина. Я знаю этот стул. Знаю этот стол. Знаю, как ложка звякает о край тарелки, если зачерпнуть слишком быстро. Всё на месте. Всё правильно.

Ем.

Она ставит на стол хлеб — нарезанный, как я люблю, не тонко, а так, чтобы держался в руке. Замечаю это. Замечаю всегда. Маленькая точность, которую она знает обо мне и держит

в голове без напоминаний, уже сколько лет. Это не мелочь. Это и есть то, что называется — знать человека.

Я ем и думаю об этом.

Потом она начинает говорить — о чём-то из своего дня, из тех мест, куда я не хожу и не бываю: магазин, соседка с третьего этажа, что-то про автобус, который опоздал на семь минут и она промёрзла. Голос у неё тихий и ровный — не монотонный, нет, а такой, как река, которая не спешит никуда: в ней есть и подъёмы, и маленькие повороты интонации, и она умеет смеяться посреди предложения, так, что смех встроен в слова, а не вставлен после.

Я смотрю на неё.

Она хорошая. Это не слова, которые говорят, когда не знают, что сказать. Это — факт. Голый, твёрдый, как тот камень у нас за домом, который торчит из земли с незапамятных времён и никуда не денется. Она хорошая, и это не утешение, потому что утешение — это когда больно, а потом чуть меньше больно. Это не так работает. Это просто есть, и от того, что есть, — тяжелее. Потому что хорошая — значит, незаслуженная. Хорошая — значит, не виновата. Хорошая — значит, она не знает, что за этим лицом, которое смотрит на неё сейчас и слушает про автобус, — поле. Выжженное, чёрное, тихое.

Она этого не знает. И не должна знать. Это — тоже моя работа. Это — тоже мой выбор, который я делаю каждый вечер, садясь на этот стул.

— Ты слышишь меня? — спрашивает она, и в голосе нет упрёка, только лёгкое, почти невесомое любопытство.

— Слышу, — говорю я. — Семь минут — это долго на морозе.

Она улыбается.

Я смотрю в окно — ненадолго, на секунду, пока она отворачивается к плите за чайником. За стеклом — зима, синяя и неподвижная. И луна. Она висит над крышей соседнего дома, круглая, без извинений, без объяснений — просто есть и светит. Снег под ней белый до неприличия, как будто специально.

Луна.

Я думаю — и это происходит раньше, чем я успеваю остановить себя, раньше, чем решаю думать, — что сейчас эта же луна висит над большим городом. Та же самая. Она не делится, не разрывается, не выбирает — просто светит туда и сюда одновременно, и там, где она, наверное, тоже смотрит иногда в окно. Или не смотрит — это я не знаю. Я многого не знаю. Я не знаю, как она спит теперь. Я не знаю, холодно ли ей там — в том городе, где другие люди и другие улицы и другие кофейни, куда она заходит погреться. Я не знаю, скучает ли она по здешнему снегу или не скучает вовсе.

Но луна одна.

И это — единственное, что сейчас между нами. Не слова, не воспоминания, не нити, которые я мог бы натянуть и потянуть к себе. Просто свет, который падает на нас обоих, пока мы оба живём свои жизни, не зная друг о друге ничего нового.

Девушка в красном, смотришь ли ты сейчас на луну?

Чайник свистит. Она возвращается, ставит две кружки. В моей — чай, крепкий, как я люблю. Она знает это тоже.

— Что-то случилось? — спрашивает она.

— Нет, — говорю я. — Всё хорошо.

Это правда. В каком-то смысле — самая точная правда, которую я умею произносить. Всё хорошо. Ужин на столе. Тепло. Хлеб нарезан правильно. Женщина напротив — хорошая. Снаружи — луна.

Всё хорошо.

Она улыбается мне — той улыбкой, которую я знаю уже столько лет, что мог бы нарисовать с закрытыми глазами: чуть левый уголок выше, и маленькая складка около глаз, и она немного наклоняет голову, когда улыбается так.

Я улыбаюсь в ответ.

Я умею это. Я научился. Я не знаю, что это говорит обо мне — то, что я умею улыбаться, пока внутри ничего нет, кроме этого ровного тёмного поля, по которому гуляет ветер. Может, это говорит, что я трус. Может — что берегу её. Может — что давно уже не понимаю, где заканчивается одно и начинается другое.

Мы сидим и пьём чай.

За окном луна уходит за крышу — медленно, неизбежно, как всё, что уходит.

Я смотрю ей вслед. Жена что-то говорит, и я слышу её, и отвечаю, и это всё происходит одновременно — я здесь, я отвечаю, я пью чай, и в то же время я там, где луна, где большой город, где она живёт жизнь, в которой меня нет.

Вот как я существую теперь. В двух местах сразу — в одном телом, в другом тем, что осталось от всего остального.

Всё выглядит как счастье.

Я знаю, как это выглядит.

* * *

Темнота в комнате — такая, что я не вижу ни потолка, ни стен, ни собственных рук, лежащих поверх одеяла. Просто темнота, и тишина, и её дыхание рядом — ровное, глубокое, почти неслышимое. Она всегда засыпала быстро. Это одна из тех вещей, которые я знаю о ней, как знаю цвет занавесок и то, что она ставит будильник за двадцать минут раньше, чем нужно, чтобы понежиться. Мелкие правды чужой жизни, которые накапливаются годами и становятся тем, что называют близостью.

Я не сплю.

Я лежу на спине и смотрю туда, где должен быть потолок, и думаю о тебе.

Девушка в красном, я не знаю, где ты сейчас. Я не знаю — это не фигура речи, не поэтическое преувеличение. Я буквально не знаю, в каком ты городе, в какой квартире, на каком этаже, горит ли у тебя свет или ты тоже лежишь в темноте и смотришь туда, где должен быть потолок. Я не знаю, думаешь ли ты обо мне.

Но я думаю о тебе каждый день. Это не жалоба. Это просто правда — самая простая и самая тяжёлая из всех, которые у меня есть. Каждый день, понимаешь? Не в те моменты, когда одиноко. Не только когда приходит какая-нибудь песня, которая была бы тебе, — нет. Каждый день. Утром, когда варю кофе. В машине, когда еду куда-то. Ночью, вот как сейчас, лёжа рядом с женщиной, которая меня любит, — думаю о тебе.

Рядом она тихо меняет позу во сне. Одеяло сдвигается. Я жду секунду — дыхание снова ровное. Спит.

И я думаю: вот. Вот как это выглядит изнутри. Снаружи — счастливая семья, тепло, чай, улыбки у камина. Внутри — темнота и твоё имя, которое я не произношу вслух, но которое живёт где-то под рёбрами и никуда не уходит.

Я решил рассказать тебе всё.

Не потому что ты когда-нибудь это прочитаешь. Не потому что я собираюсь что-то отправить, написать, найти тебя. Я не из тех, кто делает такие вещи — это я уже знаю про себя, это горькое и точное знание о себе. Но я расскажу. Не знаю кому. Себе, наверное. Ночи. Этой темноте над головой.

Я расскажу всё — и то, как любил. И то, как боялся. И то, как молчал, когда надо было говорить, и как уходил, когда надо было остаться, и как оставался, когда надо было уйти. Я не буду делать из себя человека лучше, чем я есть. Я не буду срезать острые углы, перекрашивать неудобное, оправдывать трусость умными словами о долге и обстоятельствах.

Потому что я пробовал так — и это не работает. Внутри всё равно знаешь. Внутри всё равно остаётся это ровное тёмное поле, по которому гуляет ветер и нет ни одного живого ростка. Я пробовал называть случившееся жизнью, ошибкой, судьбой — слова ничего не изменили. Поле осталось.

Значит — честно.

Я трусил. Я молчал, когда ты смотрела на меня и ждала чего-то, что я не умел дать. Я думал: потом, завтра, найдётся момент — и момент не находился, и потом не наступало, и я ждал идеальных слов, которые объяснили бы всё сразу, и, пока я их искал, ты ушла.

Это была моя работа — говорить. Это была моя работа — сделать так, чтобы ты знала. Я её не сделал.

И я не знаю — мог ли я что-то исправить? Честно: не знаю. Может быть, мир был устроен так, что мы всё равно оказались бы там, где оказались: ты — в большом городе с другими улицами, я — здесь, в темноте, рядом с чужим дыханием. Может быть, не было никакого варианта, в котором мы оба оказались бы счастливы, — ни одного. Может быть.

Но может быть — и был.

И вот этот «может быть» живёт в мою, с этим ровным полем внутри, и иногда ночью поднимается и стоит у кровати и смотрит на меня. И я смотрю обратно. И мы оба знаем, что я так и не сделал того, что мог.

Я хотел тебя вылечить — и я знаю, как это звучит, я знаю, что это высокомерно и что ты не нуждалась в спасении, и всё же. Было в тебе что-то надломленное, что-то, что ты очень аккуратно прятала за бокалом игристого и прямой спиной и этим взглядом — немного насмешливым, немного отстранённым, — и я видел. Я видел и хотел, чтобы тебе не было больно. Хотел — и ничего не сделал. Смотрел. Любил из тени. Думал: она сильная, она справится.

Ты справилась. Ты всегда справлялась.

А я остался здесь — с этим знанием и без тебя.

Темнота не меняется. Она спит рядом, и дыхание ровное, и всё тихо, и мне тридцать секунд до того момента, как я сам себя уговорю, что уже почти сплю, что это пройдёт, что завтра будет обычный день, и всё будет как всегда.

Но сначала — это.

Это началось с красного платья и бокала игристого в руке. Это началось с того, что я увидел тебя через зал — и не смог отвести взгляд. Это началось с одной секунды, одного момента, который я не выбирал и который выбрал меня.

Это началось.

И никогда по-настоящему не закончилось.

Глава 2

Ты никогда не рассказывала.

Не потому что молчала — ты умела говорить, умела быть лёгкой, умела смеяться в нужный момент, и смех твой был настоящим, не фальшивым, я это знаю. Просто о себе — о том, что внутри, о том, что болело раньше, до меня, — ты не говорила. Никогда. Ни одного слова, которое я мог бы поймать и сложить в картину.

Я собирал тебя по кускам.

Сейчас за окном — зима. Тихо. Фонарь на столбе мотается немного, снег идёт вертикально, без ветра, и это значит, что мороз. Жена спит — я слышу её ровное дыхание оттуда, из спальни, сквозь приоткрытую дверь — и я сижу здесь, у окна, и смотрю на то, как падает снег, и думаю о тебе. Как всегда. Как будто прошло не столько времени, сколько прошло, а гораздо меньше — час, может быть, или два, — и ты ещё где-то рядом, только вышла ненадолго.

Ты не рядом. Ты давно не рядом.

И всё равно я собираю тебя — по тому, что помню, по тому, что видел, по осколкам, которые ты сама, наверное, не считала значимыми.

Я помню, как ты держала бокал.

Не так, как держат, когда расслаблены. Не небрежно, не за ножку двумя пальцами, не ставя его куда попало. Ты держала его как что-то, за что нужно держаться. Как поручень в темноте. Как единственную твёрдую вещь в комнате, где всё остальное плывёт.

Поначалу я не понял. Думал — привычка, манера, что-то выученное в каком-то правильном месте, где учат держать бокал правильно. Потом увидел ещё раз. И ещё. И начал понимать: это не манера — это опора. Это то, за что держишься, чтобы не упасть.

Девушка в красном. Я смотрел на тебя через зал, и ты стояла так прямо, и бокал в руке, и взгляд — немного в сторону, немного насмешливый, немного как будто всё здесь тебе понятно и немного скучно, — и я не знал тогда, что это защита. Что прямая спина — это щит. Что взгляд в сторону — это способ не смотреть туда, куда смотреть больно.

Я не знал. Но запомнил.

Ты умела это — светские мероприятия, блестящие залы, разговоры ни о чём и обо всём одновременно. Умела сказать правильное слово в правильный момент, умела улыбнуться так, что человек чувствовал себя единственным в комнате. Умела войти так, что люди оборачивались — не потому что ты этого добивалась, а потому что ты просто была такой. Была — и всё.

И за этим — ничего.

Нет, не ничего. Я неточно говорю. За этим было что-то — но оно было закрыто так плотно, так аккуратно, что я долго не мог даже понять, где искать вход. Ты улыбалась, и улыбка была настоящей. Ты смеялась, и смех был настоящим. Ты говорила — и слова были точными. Просто всё это было — снаружи. А снаружи у тебя было всё в порядке. Снаружи у тебя было безупречно.

Я научился читать то, что внутри, — потом. Гораздо позже. Когда уже была ночь, и темнота, и ты лежала рядом — молчала и не спала, я чувствовал это по дыханию, — и я мог видеть тебя без этого всего, без блеска и прямой спины и правильных слов. Видеть просто тебя.

Вот тогда — понял.

Понял не сразу. Понимание пришло постепенно — как понимает форму берега тот, кто долго смотрит на воду. Смотришь, смотришь — и вдруг видишь, что это не просто линия, что там есть изгиб, и выемка, и место, где берег уходит под воду раньше, чем кажется. Это не открытие — это накопление. Не момент, а процесс.

Я накапливал.

Накапливал — как ты иногда замолкала на полуслове. Не потому что забыла, что хотела сказать, — я видел, что не забыла, — а потому что решила не говорить. Остановилась у какой-то двери внутри себя и не открыла её.

Накапливал — как иногда, когда ты думала, что я не смотрю, у тебя менялось лицо. Просто на секунду. Просто — что-то тяжёлое проходило через тебя, как тень от облака по полю, быстро, и ты убирала это раньше, чем оно успевало стать заметным.

Накапливал — как ты говорила о прошлом. Не своём прошлом. О прошлом вообще — о каком-то фильме, о книге, о чужой истории — и иногда в том, как ты говорила, было что-то такое личное, что я понимал: это не чужая история. Или не только чужая.

И в какой-то момент — не могу назвать точно, когда, это было не одной ночью и не одним разговором, — я понял: она была сломана до меня.

Не мной. До меня.

Кто-то сломал тебя раньше — или что-то, или просто жизнь, которая иногда умеет ломать людей методично и без очевидной причины. Ты пришла ко мне уже с этим. Уже несла это в себе — аккуратно упакованное, тщательно спрятанное, накрытое сверху блеском и правильными словами и прямой спиной.

И я видел.

Видел — и хотел. Хотел, чтобы тебе не было больно. Хотел — что-то сделать с этим, добраться до того места внутри, которое болело, и как-то — я не знал как, я никогда не знал как, — но сделать так, чтобы перестало.

Я знаю, как это звучит. Знаю, что это высокомерно — думать, что можно прийти и вылечить человека. Что человек не нуждается в том, чтобы его лечили без спроса. Что это моя фантазия, мой способ быть нужным, а не её запрос.

Знаю.

И всё равно — хотел.

Хотел и ничего не сделал. Смотрел. Любил из тени. Думал: она сильная, она справится. Думал: у неё есть её жизнь, её мир, её способы. Думал — и не делал ничего, и не говорил ничего, и снег за окном шёл и идёт, одинаково, и ты справилась — я уверен, что справилась, — только уже без меня.

Фонарь качается. Снег идёт вертикально.

Девушка в красном, ты никогда не рассказывала. Но я слышал — то, что ты не говорила. Я слышал это в том, как ты держала бокал. Как останавливалась у закрытых дверей внутри себя. Как иногда, ночью, дышала не так — чуть тяжелее, чуть неровнее, — и думала, что я не замечаю.

Я замечал.

Я просто не знал, что делать с тем, что замечал.

* * *

Был у неё кто-то до меня.

Я знал это — не потому что она сказала, а потому что не сказала. Потому что иногда, когда я произносил слово «любовь» — не к ней, просто так, в разговоре, вскользь, — у неё на долю секунды что-то менялось в лице. Не боль. Не радость. Что-то среднее — что-то похожее на то, как человек слышит название города, в котором однажды был и больше не вернётся.

Был у неё кто-то. И она думала — думала, что любит его.

Это слово я понял позже. «Думала». Не тогда, когда оно произошло, а потом, когда у меня было время сидеть и перебирать всё, что осталось. Думала. Это не значит, что не любила. Это значит, что то, что она называла любовью, — оказалось чем-то другим. Или недостаточным. Или просто — не тем. Как иногда в темноте принимаешь что-то за другое — тянешься рукой, и только когда пальцы касаются, понимаешь: нет, не то.

Я не знаю, как он выглядел. Не знаю, как его звали. Она никогда не называла имени — и я никогда не спрашивал. Боялся, что, если спрошу, — это станет реальным. Что он займёт место в нашем пространстве, в том маленьком, хрупком пространстве, которое было между мной и ей, — и что-то изменится. Поэтому я не спрашивал. И она не говорила.

Один раз только — один раз — она обмолвилась.

Мы сидели поздно, уже почти ночь, и она что-то говорила — сейчас не помню, о чём, о чём-то необязательном, — и вдруг сказала: «Он всегда выключал свет, когда я хотела читать.»

Всё.

Больше ничего.

Я поднял на неё взгляд, а она уже смотрела в другую сторону — как будто сама не заметила, что сказала это вслух. Как будто фраза выскочила случайно, и она немедленно её убрала — не взяла обратно, это невозможно, — но накрыла сверху тишиной, плотной и ровной, и стала говорить о чём-то другом.

Я не переспросил.

Девушка в красном, я не переспросил — и сейчас, сидя здесь, в этом городе, в котором ты больше не появляешься, я думаю: зачем ты это сказала? Что это было — случайность, или ты ждала, что я спрошу? Что я потяну за этот конец — аккуратно, двумя пальцами, — и ты позволишь мне размотать что-то из того, что несла в себе?

Не знаю. Теперь уже не спрошу.

Он выключал свет, когда она хотела читать. Такая маленькая вещь. Такая незначительная на бумаге — и такая красноречивая, если думаешь о ней достаточно долго. Это ведь не про свет. Это никогда не про свет — когда человек говорит о таком, это про что-то другое. Про то, что тебя не слышат. Что рядом с тобой — но не с тобой. Что ты протягиваешь что-то своё, маленькое и настоящее, — а оно не нужно.

Я думал о нём — об этом человеке без имени и без лица — и пытался решить: он сломал её? Или она пришла к нему уже надломленной, а он просто — не заметил?

Наверное, второе.

Потому что то, что я видел в ней — ту трещину, ту глубокую, тихую, аккуратно упакованную боль, — она не выглядела как что-то новое. Она выглядела как что-то давнее. Как шрам, а не как рана. Уже зажившее, уже покрытое кожей — но под пальцами всё равно чувствуется рубец, если знаешь, где нажать.

Он просто не нажимал. Или нажимал — и не считал важным то, что нашёл.

Или — и вот это меня преследует до сих пор — он видел. Видел и решил не знать. Потому что знать — это ответственность. Потому что, когда видишь в человеке боль, ты уже не можешь сделать вид, что не видел. И проще — выключить свет и лечь спать.

Я думаю об этом — и узнаю себя.

Потому что я тоже видел. Я видел, как она останавливалась у закрытых дверей внутри себя. Видел, как менялось её лицо в те секунды, когда она думала, что я не смотрю. Видел — и молчал. Не потому что не хотел знать. Потому что боялся.

Боялся, что если я спрошу — она испугается. Что вопрос окажется слишком прямым, слишком близким, что я нарушу что-то хрупкое, что держалось на молчании, и она отступит. Уйдёт в себя глубже. Или просто — уйдёт.

Это моя правда, которую мне незачем приукрашивать: я молчал, потому что боялся потерять её раньше, чем потерял.

Какая ирония. Какая горькая, совершенно банальная ирония.

Девушка в красном, я хотел тебя вылечить. Я хотел добраться до того места, которое болело, — и сделать так, чтобы перестало. Я не знал как. Я никогда не знал как. Я думал: время, присутствие, тепло — это что-то значит, это что-то делает. Думал, что если буду рядом достаточно долго, то боль — уйдёт. Или хотя бы станет тише.

Но я не спрашивал. Не открывал те двери, у которых ты останавливалась. Стоял рядом — и смотрел, как ты несёшь это одна.

Он выключал свет, когда ты хотела читать.

А я — видел свет и не входил.

Не знаю, что хуже.

* * *

Я представлял её мир так, как представляют чужую страну — по осколкам, по отдельным словам, оброненным вскользь, по тому, как она произносила названия улиц и ресторанов, словно немного удивляясь, что они вообще существуют.

Она редко говорила о городе, откуда приехала. Но когда говорила — у меня было ощущение, что она описывает не место, а состояние. Огни. Много огней. Вечеринки, где приглашения рассылают за месяц, а платья выбирают за два. Рестораны, где меню без цен — потому что если спрашиваешь о цене, ты здесь не туда попал. Разговоры, которые звучат как разговоры, но при этом не о чём — про Милан, про чью-то яхту, про выставку художника, которого половина гостей в глаза не видела, но все успели составить мнение. Мир, где всё блестит — и именно поэтому ничего не видно.

Я слушал — и понимал, что это не её мир рассказывает мне о себе. Это она мне говорит: вот откуда я пришла. Вот что я умею носить, как маску. Вот в чём я умею двигаться, не касаясь ничего по-настоящему.

Здесь, у меня, — лес. Тишина, в которой слышно, как скрипит снег под ногами за три дома. Фонари, которые гаснут в полночь — потому что незачем жечь свет, когда все уже спят. Деревья, которые стоят так давно, что, кажется, помнят что-то, чего нам уже не вспомнить. Небо такое тёмное, что звёзды в нём не украшение — они просто есть, и от этого немного страшно.

У неё — когда она засыпала там — окна смотрели на другие окна. Огни напротив огней. Ни одной звезды.

Я думал об этом как о двух разных временных поясах, между которыми не бывает одновременности. Когда там восходит солнце, здесь оно уже клонится к лесу. Когда здесь темнеет — там, наверное, зажигаются рекламные щиты и кто-то открывает дверь очередного заведения, где музыка громче, чем нужно, а улыбки шире, чем правда. Мы никогда не жили в одном свете. Даже когда лежали рядом.

И вот что меня преследует — не то, что её мир был богаче или ярче. Не это.

А то, что она умела в нём быть красивой и пустой одновременно.

Я не могу объяснить это иначе. Она входила в комнату — и комната менялась. Что-то в осанке, в том, как поворачивалась голова, как рука держала бокал — не крепко, почти небрежно, как будто бокал сам решил оказаться у неё в пальцах. Она знала, как занять пространство так, чтобы другие начали подстраиваться под её присутствие, сами того не замечая. Это не высокомерие. Это — выученное. Долго и тщательно выученное, до автоматизма, до мышечной памяти.

Но за этим — пустота. Не жестокая, не холодная. Просто — пустота человека, который давно научился не ждать, что его кто-то заполнит.

Я не знал, как войти в этот мир, не сломав что-то.

Не потому что был беден — хотя и это правда, и я не буду делать вид, что деньги ничего не значат, когда они всё-таки значат. Но это было бы слишком простым объяснением, слишком удобным. Нет. Я боялся другого. Что если я войду туда — в этот мир огней и выученных жестов — я разрушу что-то в ней. Что-то, что она строила годами как защиту. Что мой способ быть рядом — прямой, без церемоний, без правильных слов про яхты и художников — сорвёт ту кожу, которую она на себя натянула. И под ней окажется что-то, что она не готова была показывать. Мне — или кому угодно.

Так что я стоял у порога её мира. Смотрел в него снаружи.
И представлял.

Представлял, как она стоит на каком-то вечере. Не этом — каком-нибудь. Любом из тех, что были до меня, или, может, после. Стоит у высокого окна — там окна всегда высокие, панорамные, как витрины — держит бокал, и смеётся. По-настоящему смеётся, не наполовину — запрокинув голову чуть назад, как будто смешно и вправду. И человек рядом с ней доволен, что рассмешил. Ещё несколько человек тянутся к этому смеху, как тянутся к свету. Музыка — правильная, не слишком громкая. Платье — то самое красное, или другое, но обязательно такое, от которого не отвести взгляд. Всё — идеально.

И никто в этой комнате не знает, что она плачет ночами.

Не знает, что есть какое-то место внутри неё, куда она не пускает никого. Что-то, что болит — тихо, постоянно, как зуб, к которому перестаёшь прикладывать язык, но боль никуда не девается. Что она возвращается домой — в квартиру с правильной мебелью и неправильной тишиной — и стоит у окна, и смотрит на чужие огни, и думает о чём-то, о чём я так и не решился спросить.

Они смеялись вместе с ней — и не слышали.

Я слышал — и молчал.

Девушка в красном, я смотрел на тебя и думал: вот человек, который научился быть одиноким в присутствии других. Это трудное искусство. Тяжелее, чем кажется со стороны. Потому что одиночество наедине с собой — это просто тишина. А одиночество в толпе — это работа. Каждую секунду. Держать лицо. Держать тон. Держать бокал правильно. Смеяться вовремя. Не смотреть туда, куда тянет смотреть.

Не знаю, сколько она так держалась до меня.

Знаю только, что когда она приехала сюда — в мой лес, в мою тишину, в мои фонари, которые гаснут в полночь, — что-то в ней, кажется, выдохнуло. Осторожно. Почти незаметно. Как будто кто-то снял что-то тяжёлое — ненадолго, не насовсем, — и она позволила себе не держать форму. Хоть немного.

Я это видел.

И думал — может, это и есть то, что я могу ей дать. Не деньги, не её мир, не правильные слова про яхты. А просто — место, где не нужно работать. Где можно выдохнуть и не следить за тем, как выглядит выдох.

Но я так и не сказал ей этого вслух.

Вот где начинается моя вина. Не в том, что я был из другого мира. А в том, что я видел, как она устала носить свой — и не протянул руки. Стоял рядом. Смотрел. Думал, что присутствие — уже достаточно.

Присутствие — никогда не достаточно. Я знаю это теперь.

* * *

Я говорил, что хотел её вылечить.

Это красиво звучит — «хотел вылечить». Как что-то бескорыстное, как что-то, что оправдывает и меня, и всё то, что между нами было. Я был рядом, потому что видел её боль и хотел её унять. Я был рядом, потому что заботился. Потому что умел.

Но вот я сижу сейчас — в четыре утра, в темноте, в тишине, которую делит со мной только чьё-то дыхание из соседней комнаты, — и спрашиваю себя честно: правда ли это? Правда ли я хотел её вылечить?

Или я просто хотел быть рядом с её болью?

Потому что разница там есть. Она огромная, эта разница. Тот, кто хочет вылечить, — делает что-то. Говорит. Спрашивает. Называет вслух то, что видит, потому что иначе — как? Боль, которую не называют, не признают, не смотрят ей в лицо — она не уходит. Она просто прячется глубже. Я это знаю. Я знал это тогда.

И я молчал.

Девушка в красном, я смотрел на тебя — и видел. Видел, как ты держишь бокал немного крепче обычного, когда разговор идёт в какую-то сторону, куда тебе не хочется. Видел, как ты смеёшься, и смех настоящий, но в глазах на долю секунды — пусто, и ты это знаешь, и я это знаю, и никто больше не знает. Видел, как ты просыпаешься иногда раньше меня и лежишь тихо, и думаешь о чём-то, и лицо у тебя — не здесь.

Я видел всё это. И не спрашивал.

Не потому что боялся ответа. Не потому что не умел. А потому что — и вот здесь мне стыдно, и я несу этот стыд давно, и он не становится легче — потому что рядом с её надломленностью моя собственная пустота казалась меньше.

Вот оно. Вот настоящее.

Я был пуст внутри — по-своему, по другим причинам, с другими трещинами, но пуст. И когда рядом оказался человек, который тоже пуст — но иначе, красивее, глубже, как будто внутри неё пустота имела форму и цвет, — я почувствовал что-то вроде облегчения. Не потому что ей было хуже. А потому что я был не один в этом. Потому что рядом с ней я мог не делать вид, что цел, — я и не делал, она тоже не делала, и в этом «не делать вид» было что-то, что я принял за близость.

Может, это и была близость. Я до сих пор не знаю.

Но вот что я знаю точно: я не пытался её вылечить. Я грелся о её боль. Как греются у огня — не думая, что огонь жжёт того, кто его держит.

Мог ли я что-то исправить? Спросить напрямую — что с тобой было, что сломало тебя до меня, что это за место внутри тебя, куда ты не пускаешь никого? Назвать вслух то, что видел: ты устала, ты носишь что-то тяжёлое, я вижу это, я здесь. Не молчать. Хоть раз — не молчать.

Я думаю — да. Думаю, мог.

Я думаю — нет. Думаю, даже если бы я спросил, она не ответила бы. Не потому что не доверяла мне. А потому что некоторые люди так давно несут своё в одиночку, что уже не знают, как передать это в чужие руки. Как это делается. Куда класть. Что говорить при этом.

Я не знаю, какой из этих ответов правда. Может быть, оба. Может быть, ни один.

Девушка в красном — вот чего я не могу себе простить: я не попробовал. Я стоял рядом, я видел, я чувствовал — и не протянул руки. Не потому что руки были заняты. А потому что было удобнее стоять рядом, чем двигаться навстречу. Потому что двигаться навстречу — это риск. Это значит — назвать. А назвать — значит признать. А признать — значит что-то с этим делать. Меняться. Решать. Выбирать.

Я не выбирал. Я просто был.

И вот что странно: два выжженных поля — они не вырастят ничего друг для друга. Я знаю это. Два человека, у каждого из которых внутри пепел — они могут смотреть друг на друга через этот пепел долго, бесконечно, с такой нежностью, что сердце рвётся. Но нежность — это не вода. Пепел от неё не зеленеет.

Нам нужен был кто-то, кто умеет растить. Или нам нужно было самим научиться. До встречи. Друг без друга.

Мы встретились слишком рано. Или слишком поздно. Я не могу решить, что точнее.

Девушка в красном, я думал о тебе как о ком-то, кого нужно спасти — и в этой мысли было столько гордыни, что мне больно её вспоминать. Ты не просила спасения. Ты просила — быть рядом. По-настоящему. Не присутствовать, а быть. Слышать, а не просто слушать. Говорить, а не молчать в надежде, что молчание само что-то значит.

Молчание ничего не значит. Я знаю это теперь.

Слова заканчиваются. Всегда в одном и том же месте — там, где больше нечего объяснять, потому что объяснения больше не работают. Остаётся только то, что было. Твои руки.

Твой смех — тот, настоящий, когда ты забывала следить за тем, как смеёшься. Твоё молчание рядом со мной — не работа, не маска, а просто тишина, в которой можно было дышать.

Я не знаю, как это назвать, кроме как любовью.

И я не знаю, было ли у меня право её так называть.

* * *

Она вышла тихо — так, как выходят люди, которые давно научились не будить друг друга.

— Не спится? — спросила жена, и в её голосе не было тревоги. Просто вопрос. Просто слова.

— Нет, — сказал я. — Всё хорошо.

Она кивнула, как будто это был единственный возможный ответ. Прошла мимо меня к плите — знакомый маршрут по знакомой кухне, — достала чайник, поставила под кран. Звук воды показался мне очень громким в этой тишине.

Я смотрел на её руки.

Руки у неё маленькие, с короткими ногтями, без лака. Она держала чайник так, как держат что-то привычное — без усилий, без мысли. Просто держала. Я знал эти руки наизусть: как они нарезают хлеб — не тонко, потому что я не люблю тонко, — как они кладут будильник на тумбочку, как они засыпают на подушке рядом с моим плечом.

Я смотрел на её руки и думал не о ней.

Это ужасно — думать так. Я знаю. Но это правда, а я давно уже пытаюсь говорить только правду — хотя бы здесь, хотя бы сам с собой, в три часа ночи у чужого окна, которое давно стало моим.

Чайник встал на подставку. Щёлкнул.

— Хочешь чаю? — спросила жена.

— Нет, спасибо. Иди спи.

Она посмотрела на меня секунду — не с подозрением, нет. С той тихой внимательностью, с которой смотрят на человека, которого знают слишком хорошо, чтобы спрашивать лишнее. Потом улыбнулась — чуть-чуть, краешком — и ушла обратно в спальню.

Я слышал, как скрипнула кровать. Как стало тихо.

И вот здесь — здесь, девушка в красном, мне нужно сказать тебе кое-что, что я долго не решался даже думать. Я люблю свою жену. Или я привык к ней. Или это одно и то же — и именно это страшнее всего.

Я не знаю, есть ли разница между любовью и привычкой, когда они жили вместе достаточно долго. Когда ты знаешь, как человек дышит во сне. Когда знаешь, что он ставит будильник на двадцать минут раньше нужного — не потому что торопится, а потому что любит лежать и слушать, как просыпается утро. Когда знаешь вкус его кофе, его смех, его молчание — все виды его молчания, и ни одно из них не пугает тебя.

Это что-то значит. Я знаю, что это что-то значит.

Но я стоял у окна и думал о тебе.

И вот что страшно: я не чувствовал вины. Я должен был её чувствовать — вину, стыд, что-то острое и правильное, что говорило бы мне: остановись, вернись, посмотри на человека, который только что налил тебе чай, которого ты не захотел. Но вместо этого — только тихая, привычная боль. Та, с которой я уже так давно живу, что перестал замечать её как боль. Как замечаешь шрам — только когда дотрагиваешься.

За окном было темно. Городок спал. Где-то далеко — лес, невидимый сейчас, угадывался только по тому, как небо над горизонтом было чуть темнее там, чем здесь. Я знал этот лес. Знал эту темноту. Знал этот запах, который приходит через щель в раме — сырость, хвоя, что-то ещё, что не имеет названия, но которое я всегда буду помнить.

Я здесь. Я всегда здесь.

А ты — где-то там, в большом городе, в жизни, которую ты выстроила без меня. И это правильно. Это так и должно быть. Я знаю.

Но я стою у этого окна и помню тебя так, как будто ты ушла вчера.

Девушка в красном, я помню, как увидел тебя впервые.

Ты стояла у окна — не у этого, у другого, — с бокалом в руке, и в нём было что-то искрящееся, что ловило свет и дробило его на мелкие, острые, праздничные куски. Ты была в красном. Ты всегда была в красном — в моей памяти, в моих снах, в том месте внутри, которое я до сих пор не знаю, как называть.

Я не знал тогда, что ты сломана. Я не знал, что за этой прямой спиной, за этим бокалом, за этим взглядом — чуть в сторону, всегда чуть в сторону, как будто ты смотришь на что-то, что остальные не видят, — за всем этим живёт что-то тяжёлое, что ты несёшь в одиночку уже так давно, что забыла, каково это — без груза.

Я не знал. Но я почувствовал.

Что-то сдвинулось — в том месте, где живут вещи, которые не объясняются. Не логикой, не словами. Просто — сдвинулось. И я подумал: кто эта женщина. И я подумал: почему она смотрит в сторону.

И я подумал: я хочу знать.

Я не знал ещё, что это начало. Что это тот момент, от которого потом всё и пойдёт — все ночи, все слова, все молчания, всё то, что я потом буду разбирать по осколкам здесь, у этого окна, в три часа ночи, пока жена спит и чайник стынет.

Я просто смотрел на тебя.

И ты была такая живая — и такая одинокая, — что у меня перехватило дыхание.

Глава 3

Девушка в красном, я расскажу тебе, как это было.

Я расскажу тебе медленно, потому что только так и можно рассказывать о вещах, которые изменили всё. Торопливость здесь — это предательство. Предательство того вечера, того городка, того тихого, ничем не примечательного часа, когда я ещё не знал, что со мной происходит что-то необратимое.

Ты не знаешь этой истории с моей стороны. Может, не хочешь знать. Может, тебе всё равно теперь, откуда я шёл и куда думал прийти. Но я всё равно расскажу — не для того, чтобы оправдаться, а потому что это единственное, что у меня осталось. Слова. Вот эти слова, которые я так и не сказал тебе живой.

Так вот.

Тот вечер начинался как все вечера, которым ничего не суждено было случиться.

Я стоял у зеркала в прихожей и застёгивал пуговицу на манжете — она была тугая, эта пуговица, чуть меньше нужного, и я каждый раз тратил на неё несколько лишних секунд. Она стояла у комода и поправляла серёжку — наклонив голову чуть набок, как всегда, смотрела в маленькое зеркальце, которое держала в руке. Я наблюдал за ней боковым зрением. Движение было привычным, отточенным — тысячу раз, десять тысяч. Серёжка. Голова набок. Маленькое зеркальце. Я знал этот жест так, как знаешь слова песни, которую не выбирал — она просто была в тебе всегда, фоном, без начала и конца.

Мы не разговаривали. Не потому что было напряжение — нет, напряжения не было. Просто не нужно было. Всё и так было известно: выходим в восемь, машина у подъезда, ехать двадцать минут, вернёмся не поздно.

Пуговица поддалась.

Она убрала зеркальце в сумочку.

Мы вышли.

Я не хотел идти туда. Это важно — я не хотел. Следующая неделя была гоночная: надо было беречь руки, спать вовремя, не нервничать по мелочам, держать голову ясной. Я жил тогда этим ритмом — трасса, резина, скорость, концентрация. Мир сужался до ширины дороги перед капотом, и в этой узости мне было хорошо. Там не надо было думать ни о чём, кроме следующего поворота.

Она что-то сказала, когда я начал отнекиваться. Одну фразу. Я не помню какую — и это странно, потому что я помню всё остальное в тот вечер с пугающей точностью, а её слова — нет. Может, их и не было. Может, она просто посмотрела на меня определённым образом — тем своим тихим, без упрёка, но и без вопроса, взглядом, который всегда означал: я уже решила, а ты сам выбери, что с этим делать. И я выбрал. Я всегда выбирал так, как было проще.

Надел пиджак. Взял ключи.

В машине я смотрел в окно.

Городок плыл мимо — фонари вдоль дороги, жёлтые, не очень яркие, с тем чуть размытым ореолом, который появляется в сырую погоду. Витрина какого-то магазина — уже закрытого, только внутренний свет горел над кассой. Скамейка у автобусной остановки, на ней никого. Переулок, где я однажды проколол колесо и полчаса стоял в темноте, не зная, злиться или смеяться. Всё знакомое. Всё такое привычное, что перестало быть видимым — просто фон, декорация к жизни, которую я жил, не очень задумываясь, какая она.

Я думал ни о чём.

Вернее — я не думал. Была просто пустота. Не тяжёлая, не тревожная — просто тихая, как комната, где давно никто не был. Я тогда не умел этой пустоте давать названия. Я вообще

был не очень хорош в том, чтобы называть вещи своими именами. Это потом я научился — потом, когда уже поздно было что-то называть и что-то менять.

За окном проплыл последний фонарь на главной улице, и дальше уже начинался тот участок дороги, где деревья подходили вплотную к обочине и ветки иногда царапали боковое стекло. Я слышал этот звук — тихий, случайный. Смотрел, как они исчезают в темноте за нами.

Она что-то говорила — тихо, о каком-то знакомом, которого мы там встретим. Я кивал.

И вот что я хочу тебе сказать, девушка в красном.

Я не знал, что еду туда, где всё изменится. Никто не знает таких вещей заранее. Это было бы слишком милосердно — знать. Слишком честно. Мир так не устроен. Мир подсовывает тебе точку невозврата в самом невинном облике: скучный вечер, нелюбимый пиджак, тугая пуговица на манжете, жена у комода с серёжкой, фонари в сыром воздухе и пустая дорога впереди.

Никаких предупреждений.

Никаких знаков.

Просто — едешь. И не знаешь, что уже не вернёшься тем же.

* * *

Там было шумно.

Не противно — просто шумно, как бывает на мероприятиях, куда приходят люди, которым важно быть замеченными, а не быть. Голоса, смешиваясь, превращались во что-то неразличимое — гул, в котором отдельные слова всплывали и тонули, не оставляя следа. Звон бокалов — тихий, точный, с тем особым металлическим послезвучием, которое дают тонкие стенки. Запах: чужие духи, нагретый воздух, что-то цветочное поверх чего-то тяжёлого, и где-то совсем фоном — еда, которую никто особенно не ел.

Официанты ходили с подносами. На подносах стояли бокалы с игристым.

Я взял один. Сделал глоток — не потому что хотел, а потому что надо было что-то делать руками.

Зал был красивый — высокие потолки, длинные шторы, свет не резкий, тот приглушённый тёплый свет, при котором все выглядят лучше, чем есть. Жена стояла рядом, говорила с кем-то — с женой знакомого или самим знакомым, я уже не помню. Кивала. Улыбалась. Была в своём элементе в той мере, в которой я — нет. Я стоял и думал о том, что пиджак жмёт в плечах, что второй глоток игристого мне не нужен, что завтра в семь утра надо выехать на трассу, пока нет машин.

Вот каким я был тогда — человеком, который думает о трассе посреди светского вечера. Это не хвастовство. Это просто диагноз.

И вот тут — краем. Краем зрения. Что-то красное у окна.

Я не повернулся сразу. Я не из тех, кто поворачивается сразу — не потому что воспитан, а потому что привык не доверять себе в первых импульсах. Первый импульс на трассе убивает. Я взял второй глоток, которого не хотел, сказал что-то жене — что именно, не помню, — и посмотрел в другую сторону. На картину на стене. Большая, тёмная, море или горы — я так и не разобрал.

Красное у окна никуда не делось. Оно просто стояло там и ждало, пока я наберусь честности.

Я обернулся.

Она стояла у окна — не в центре зала, не там, где стоят те, кто хочет, чтобы их заметили, а именно у окна, чуть в стороне от всех. Бокал в руке — держала не за ножку, как держат обычно, а за чашу, ладонью, как держатся за что-то тёплое или за что-то устойчивое. Платье было красным и длинным, с разрезом, и она была в нём не как в наряде — а как будто оно единственное существующее решение, единственно возможный ответ на какой-то вопрос, которого я не слышал.

Она смотрела не в зал.

Смотрела в окно. В темноту снаружи — там был сад, или парковка, или просто ночь, я не знаю, я не смотрел туда, я смотрел на неё. Лицо в полупрофиль. Несколько прядей выбились и падали вдоль щеки — она не убирала их. Спина прямая, как будто её кто-то учил стоять прямо и она не разучилась, но в этой прямоте не было покоя. Было усилие. Совсем небольшое, почти незаметное — но я его видел. Я не знаю, почему видел. Наверное, потому что сам так держался иногда — прямо, когда хочется осесть.

Я сказал себе: красивая женщина. Здесь таких несколько.

Я даже осмотрелся — специально, методично, как проверяют показания. Вон та, у колонны, в синем — красивая. Та, с бокалом у края стола — красивая. Та, которая смеётся слишком громко, запрокидывая голову, — красивая.

Я посмотрел обратно к окну.

Она по-прежнему смотрела в темноту.

И я понял — или что-то во мне поняло раньше меня, — что это не то. Не то, что я только что пытался себе доказать. Не «красивая женщина». Что-то другое, для чего у меня не было слова тогда — и я не уверен, что оно есть у меня сейчас.

— Ты голоден?

Жена. Её голос — тихий, ровный, такой знакомый, что я его почти не слышал.

— Нет, — сказал я. Или сказал что-то другое, что означало то же самое. — Всё хорошо.

Она засмеялась — негромко, легко. Приняла это за шутку. Я не понял, что именно показалось ей смешным, но улыбнулся в ответ — улыбкой, которая у меня всегда была наготове для таких моментов: живая достаточно, чтобы не вызывать вопросов.

И вот тут я понял, что уже солгал.

Не ей. Или не только ей. Себе — тоже. Потому что ничего ещё не произошло, мы даже не были представлены, она даже не знала, что я существую, — а я уже знал, что смотрю не туда, куда должен, и что это «не туда» никуда не уйдёт само по себе.

Девушка в красном, я хочу тебе сказать одну вещь.

Я мог уйти тогда. Прямо в ту минуту — взять пальто, сказать, что голова болит, увезти жену домой. Вернуться к трассе, к утреннему выезду в семь, к пиджаку, который я мог снять уже через час и повесить на спинку стула. Это было так просто. Это не потребовало бы ничего — никакого мужества, никакой жертвы, только одной фразы и пальто с вешалки.

Я этого не сделал.

Я даже не подумал.

Я просто стоял и смотрел, как ты держишь бокал обеими руками, как несколько прядей касаются твоей щеки, как ты не убираешь их — и думал ни о чём. Или думал о чём-то таком, что ещё не оформилось в мысль, а было просто — тихим и опасным, как первая трещина в том месте, где ты был уверен, что лёд держит.

* * *

Я поставил бокал на подоконник — или на чей-то столик, или на что-то ещё, я не помню, — и просто пошёл. Сказал себе: там меньше людей. Сказал себе: мне нужен воздух, а окно даёт иллюзию воздуха. Сказал себе много всего за те несколько секунд, пока шёл через зал, — и ни одно из этих объяснений не было правдой.

Девушка в красном, я шёл к тебе. Я просто ещё не разрешил себе это знать.

Огни за стеклом размывались. Мороз снаружи делал с ними что-то тихое — превращал резкие точки в тёплые пятна, которые казались ближе, чем были, и одновременно недостижимее. Я встал рядом с ней — не вплотную, на расстоянии вежливого незнакомца — и посмотрел туда же, куда она. В эту тёмную размытость. В огни чужих окон, в фонари, в то, что снаружи называлось городом и что изнутри выглядело как что-то очень далёкое.

Она не повернулась.

Я стоял. Она стояла. Мы оба смотрели в темноту, как будто там было что-то, что мы оба потеряли и ещё не знаем об этом.

Потом она сказала — негромко, почти не для меня, скорее для стекла:

— Как далеко всё выглядит. Вот так смотришь — и не верится, что туда можно просто взять и пойти.

Я не сразу ответил. Не потому что не знал что. А потому что это было так точно — то, что она сказала, — что на секунду я подумал: она говорит про то же самое, что думаю я. Хотя мы смотрели в одно окно первые тридцать секунд нашей жизни рядом друг с другом.

— Можно, — сказал я. — Просто холодно идти.

Она помолчала. Потом — почти беззвучно — хмыкнула. Не смешно, не кокетливо. Как человек, который услышал что-то неожиданно верное и не знает, что с этим делать.

И тогда она повернулась ко мне.

Девушка в красном, я помню твой взгляд. Я помню его лучше, чем что бы то ни было в тот вечер. Лучше, чем лица, музыку, запах чужих духов, которые плавали по залу, — лучше всего этого я помню, как ты смотрела на меня в первый раз.

Не кокетливо. Не оценивающе — так, как смотрят на незнакомца, чтобы понять, стоит ли он внимания. Нет. Ты смотрела иначе. Устало. Остро. Как человек, который давно не спал, но не даёт себе закрыть глаза — потому что боится: закроешь, и что-то важное произойдёт без тебя, пока ты не смотришь.

Я не знаю, что ты искала в моём лице. Но я помню, что не отвёл взгляд. И это уже было что-то.

Мы говорили. О чём — я не помню. Это звучит странно: первый разговор с человеком, который перевернул всё, — и я не помню слов. Но я не помню. Помню только: мы говорили о чём-то незначительном, о том, что говорят незнакомые люди у окна на чужом мероприятии. Про огни, кажется, ещё раз. Про холод снаружи. Может, про то, чья это была вечеринка — я уже не помнил тогда, не помню и сейчас.

Помню, что в какой-то момент ты чуть улыбнулась.

Совсем немного. Уголок рта — вот и всё. Что-то живое мелькнуло в твоём лице — и тут же ушло. Как будто ты испугалась, что тебя заметят. Не я — кто-то другой. Какой-то внутренний надзиратель, который следил, чтобы ты держала форму, чтобы спина оставалась прямой, а бокал — в руке, а лицо — правильным.

Я видел эту улыбку. И я видел, как ты её убрала.

И вот тогда — не раньше, именно тогда — я понял, что это опасно.

Не ты. Я. Что-то во мне уже решило — без моего ведома, без моего разрешения, — и я стоял у окна и всё ещё думал, что просто разговариваю с красивой женщиной, просто убиваю время до того момента, когда можно будет сказать жене: поедem, уже поздно.

Но это была ложь.

Я знаю теперь, как называется то, что я почувствовал в ту секунду. Тогда у меня не было слова. Было только ощущение — тихое и очень точное, — что лёд, на котором я стою, уже дал трещину. Не треснул. Не провалился. Просто — дал. Тонко, едва слышно, как дают трещину вещи, которые казались надёжными.

И я не отошёл.

Девушка в красном, я мог отойти. Я мог сказать что-нибудь вежливое и нейтральное и вернуться к жене, к знакомым, к пиджаку, который ждал меня на вешалке. Мог — и не сделал. Потому что что-то во мне уже выбрало, пока я не смотрел на себя. Пока я думал, что это просто окно, просто огни, просто незнакомка в красном, которая сказала что-то про то, как далеко выглядит всё снаружи.

Ничего не было просто.

* * *

Она взяла меня под руку так, как берут всегда, — привычно, не задумываясь, так же как берут свою сумку или ключи от машины. Не из-за равнодушия. Из-за доверия. Когда что-то своё — не тянешься к нему специально, оно просто есть.

— Ты видел, как Нина Васильевна говорила с этим молодым в сером пиджаке? — сказала она мне на ухо, чуть смеясь. — Она так смотрела на него, будто он сейчас ей предложение сделает.

Я кивнул. Засмеялся — негромко, в нужном месте. Повернул голову чуть влево, туда, где надо было смотреть, чтобы разделить её взгляд на происходящее. Всё это вышло правильно. Всё это вышло привычно.

Краем зрения я видел, как ты отошла от окна.

Я не повернулся. Это было усилие — маленькое, незаметное снаружи, но я его почувствовал. Как чувствуешь, когда держишь руку в стороне от огня. Не больно. Просто — усилие. Просто сознательное решение не двигаться туда, куда хочет тело.

Ты растворилась в толпе — красное мелькнуло между тёмными пиджаками и пропало. И я снова смотрел туда, куда нужно.

— Ты устал?

Я посмотрел на неё. Она смотрела на меня — внимательно, без тревоги, но с этим своим умением замечать. Она всегда умела замечать, когда я был где-то не здесь. Не знаю, чему она это приписывала. Усталости от работы, наверное. Или просто — знала меня достаточно, чтобы видеть тень на лице, не зная её причины.

— Нет, — сказал я. — Всё хорошо.

Девушка в красном, я впервые услышал ложь в этих словах.

Не то чтобы я не говорил «всё хорошо» раньше, когда было не хорошо. Говорил. Все говорят. Но тогда это звучало как упрощение — как сокращение длинного и сложного до удобного и короткого. А в ту секунду это прозвучало иначе. Как что-то, что произносишь, зная, что произносишь неправду. Не чтобы обмануть. Просто потому что правда слишком странная, чтобы поместиться в этот зал, в этот вечер, в этот разговор.

Она кивнула и снова что-то стала рассказывать — про кого-то, кто стоял у буфета, — и я слушал, и отвечал, и кивал.

А потом посмотрел на неё по-настоящему.

Не так, как смотрят на фон. Так, как смотрят, когда хотят увидеть.

Её руки — маленькие, тёплые, с короткими ногтями без лака — лежали на сгибе моего локтя. Я знал эти руки. Знал, как она держит чашку — двумя руками, не за ручку, — знал, как она нарезает хлеб, не тонко, знал, как она поправляет волосы, вот этим жестом, сейчас, — убирает прядь за ухо, не глядя, привычно, в середине фразы. Знал звук её голоса вечером, когда она устала, — он становился чуть тише и чуть ровнее. Знал, как она засыпает — быстро, почти сразу, как будто просто решает: всё, достаточно.

Я знал её наизусть.

И в ту секунду, стоя рядом с ней, с её рукой на своём локте, слушая её голос — я подумал: почему этого вдруг кажется мало?

Не было никакого ответа. Я искал и не находил — ни вины в ней, ни пустоты между нами, ни какого-то очевидного изъяна, который мог бы объяснить это ощущение. Она была такой же, какой была всегда. Я был — нет. Что-то во мне сдвинулось у того окна без моего ведома, и теперь я стоял рядом с человеком, которого знал, как знают собственное дыхание, — и чувствовал что-то, похожее на дистанцию, которой раньше не было.

Это было несправедливо. Я это понимал. Но понимание не отменяло ощущения.

Девушка в красном, вот чего я не прошу себе до конца.

Не того, что влюбился. Не того, что смотрел на тебя. А того, что в ту секунду — пока она поправляла волосы и смеялась чему-то, что рассказывала, — я позволил себе эту мысль.

Позволил ей существовать. Не прогнал. Не поставил на место. Просто — держал её, как держат что-то горячее, зная, что обожжёт, и всё равно не кладут.

Прости меня за тот вечер.

За то, что я думал это, стоя рядом с тобой, — с ней, — пока она говорила и смеялась и ничего не знала. Прости за то, что я кивал и улыбался, и всё выглядело правильно, и ничего не было правильно. Прости за то, что в моей голове уже было красное платье и усталый взгляд и улыбка, которую тут же убрали, — а в жизни была она, рядом, тёплая и настоящая, и ничем не заслужившая такого мужа.

Она этого не знает до сих пор.

И это — тоже часть вины. Может быть, самая тихая её часть. Потому что всё остальное можно назвать слабостью, или страхом, или просто человеческим. Но то, что она так и не узнала — что в тот вечер, в том зале, с её рукой на своём локте, я уже был немного не её, — это я не могу назвать ничем, кроме как предательством. Маленьким. Безмолвным. Таким, за которое не судят — потому что никто не видел. Только я.

Она сказала что-то смешное, и я засмеялся.

И всё выглядело правильно.

* * *

Потом — это слово, которое никуда не ведёт. Потом узнаю её имя. Потом подойду ещё раз. Потом скажу что-нибудь настоящее, не то дежурное, не тот случайный разговор у окна, который ничего не значил и значил всё.

Потом.

Вечер заканчивался так, как заканчиваются все вечера, которые казались важными: медленно и неотвратно, пока никто не смотрит. Люди разбивались на группы у выхода, передевали выражения лиц — с праздничных на обычные, — доставали пальто, телефоны, смотрели на время. Зал редел. Смеялись тише. Музыка где-то притихла или вовсе остановилась — я не помню точно, потому что в тот момент я смотрел только в одну сторону.

Она стояла у входа.

Уже в пальто — тёмном, длинном, совсем не красном — и от этого казалась другим человеком, будто то, что я видел весь вечер, было какой-то версией её, праздничной и нездешней, а теперь она складывала её обратно и убирала в карман. Бокал был где-то оставлен — на подоконнике, наверное, или на ближайшем столике. Она искала что-то в сумке, чуть наклонив голову, и несколько прядей выбились из пучка и падали ей на лицо, и она не убирала их — руки были заняты.

Я смотрел на неё.

Она не знала, что я смотрю. В этом есть что-то постыдное — я осознал это тогда и осознаю сейчас, рассказывая. Смотреть на человека, который тебя не видит. Держать его в поле зрения без его ведома, как будто это даёт тебе что-то, на что ты не имеешь права. Но было в этом и что-то невозможно честное — потому что только так, пока она не смотрит, я мог смотреть по-настоящему. Без маски вежливого незнакомца. Без той лёгкости, которую изображал у окна, когда говорил с ней и одновременно убеждал себя, что это просто красивая женщина и завтра я её не вспомню.

Я уже знал, что вспомню.

Ключи нашлись — или телефон, — она достала что-то, выпрямилась, убрала прядь за ухо. Быстрым, привычным жестом. Потом посмотрела на дверь.

И ушла.

Дверь закрылась. Красное исчезло — нет, не красное, она была уже в тёмном пальто, но что-то красное всё равно исчезло, что-то, что держало весь вечер в натяжении, как струна, и теперь отпустило. Зал стал обычным залом. Люди вокруг стали обычными людьми — с уста-

лыми голосами и размазанными улыбками, с разговорами о том, как добраться домой и нужно ли заходить ещё куда-то. Свет был тот же. Музыка — та же или похожая. Всё было на месте.

Только что-то ушло.

Я стоял с пустым бокалом.

Я не знал её имени. Не спросил — ни тогда, у окна, когда говорил с ней и мог спросить легко и естественно, ни после, когда видел её в зале и думал: подойди. Не подошёл. Не спросил. Даже не знаю, как её зовут. Может быть, это и есть конец — встреча без продолжения, каких тысячи, каких у каждого человека наберётся с десятков, если честно считать. Красивая незнакомка на чужом вечере. Красное платье. Усталые глаза. Улыбка, которую убрали быстро, как убирают что-то личное, случайно показанное не тому.

Всё.

Я сказал себе: всё. Иногда встречи — это просто встречи. Не каждое красное платье — это история. Не каждый взгляд тянет за собой последствия. Бывает, что смотришь на человека и думаешь: вот это да, — и идёшь домой, и утром думаешь о другом, и через неделю не помнишь лица. Бывает. Наверное, бывает. Я пытался в это верить, стоя с пустым бокалом в центре зала, который разбирался по домам.

Она взяла меня за руку.

Я не сразу понял — а потом понял: жена. Её маленькая рука с короткими ногтями без лака. Тёплая. Знакомая до молекул.

— Пора, — сказала она тихо. Не вопрос — просто тихая констатация, что вечер кончился и можно идти.

Я кивнул. Поставил бокал на ближайшую поверхность — не глядя, куда. Пошёл рядом с ней к выходу. Не оглядывался.

Девушка в красном, я не оглядывался.

Я не знаю, зачем я это подчёркиваю — это не подвиг и не добродетель. Просто не оглядывался. Шёл рядом с женой, чувствовал её руку в своей, слышал её голос — она что-то говорила про то, что надо будет позвонить кому-то завтра, или про то, что задержались дольше, чем планировали, — и кивал. И думал о ней.

Всю дорогу домой.

О том, как она искала ключи в сумке. О прядях, которые упали на лицо. О том, что она оставила бокал где-то в зале и не вернулась за ним — он так и стоит там, наверное, с чуть тёплым игристым внутри. О том, что я не знаю её имени. О том, что это, наверное, правильно — не знать, не спрашивать, дать этому вечеру остаться тем, чем он был: просто вечером.

И потом ещё.

Девушка в красном, я думал о тебе и потом. Ложился с этой мыслью. Просыпался — она была первой. Не сразу, не каждый раз — но часто. Слишком часто для человека, который увидел тебя один раз и не узнал твоего имени.

Я не знал тогда, что мы встретимся снова.

Что ты окажешься в моём городе — не случайно, я теперь понимаю, что не случайно, хотя тогда думал: совпадение, просто совпадение, мир тесен и всё такое. Не знал, что красное у окна — это было только начало. Что этот вечер, этот пустой бокал, эта дверь, которая закрылась за тобой, — это не конец встречи без продолжения.

Это была точка. Не финальная — первая.

И я шёл домой, держа жену за руку, и не знал ничего из того, что знаю сейчас. Только одно — то, в чём не признавался себе до самого порога, пока мы снимали пальто в прихожей и она говорила про завтра, — что весь вечер, пока был этот зал и эти люди и это всё, — самым настоящим в нём была она.

Незнакомка в красном, которую я не спросил, как зовут.

Глава 4

Я не знаю, как это началось.

Сажу в темноте и пытаюсь найти точку — ту самую, от которой можно провести прямую линию назад и сказать: вот здесь, вот это решение, вот этот шаг. Жена спит в соседней комнате. Дыхание её ровное, привычное — я его слышу сквозь стену, или мне кажется, что слышу, или я просто знаю, как оно звучит, и придумываю его в тишине. За окном ничего — ни огней, ни машин, только снег, может быть, или просто темнота такой плотности, когда уже не понять, есть ли там что-то.

Девушка в красном, я сажу и пытаюсь разобраться, как это было.

Первая версия — случайность. Так получилось, обстоятельства сложились, мы оказались в одном месте, и что-то произошло само, без умысла, без выбора. Эту версию я откладываю первой — она красивая, она удобная, она снимает с меня вес, но я в неё не верю. Случайностей такого рода не существует. Человек приходит туда, куда идёт.

Вторая версия — усталость. Брак устал, я устал, всё притупилось, и ты появилась просто в нужный момент, как вода появляется там, где человек давно хочет пить. Эту тоже откладываю. Потому что это обвинение — в её сторону, в сторону жены, а не в мою. Потому что это было бы слишком просто.

Третья — слабость. Я слаб, не устоял, не смог. Но и это неправда, потому что слабость предполагает борьбу, которую ты проиграл. А я не помню борьбы. Я помню что-то другое.

Я помню, что хотел.

Вот что остаётся, когда убираешь все красивые версии. Простое, тупое, неудобное: я хотел. Не вопреки всему, не против воли — хотел, и шёл туда, куда хотел, и не придумывал себе объяснений, потому что в тот момент они были не нужны. Объяснения нужны потом. Потом, когда сидишь в темноте и жена спит в соседней комнате.

Я возвращаюсь к тому вечеру — не к первому взгляду, не к тому, как ты стояла у окна в красном. К тому, что было после. Как я шёл домой рядом с женой и думал о тебе. Как лёг спать и думал о тебе. Как проснулся — и ты была первой мыслью, раньше всего, раньше кофе, раньше утра.

И я знал. Не признавался — но знал.

Знал, что вернусь туда, где ты можешь быть. Не специально, не с планом — но знал. Город маленький. Пространство пересекается. Люди снова оказываются рядом. Я говорил себе: просто живу, просто хожу туда, куда хожу, просто так совпало. Но тело знает раньше, чем разум придумает слова. Я шёл — и знал, куда.

Между первым вечером и первой ночью прошло несколько недель.

Я видел тебя ещё раз — не на мероприятии, просто так, случайно, по-настоящему случайно, это единственная настоящая случайность во всей этой истории. Ты стояла у витрины какого-то магазина, смотрела сквозь стекло, пальто тёмное, волосы собраны небрежно, несколько прядей опять выбились. Я прошёл мимо. Остановился. Обернулся. Ты обернулась тоже — не знаю, почему, может, почувствовала, может, совпало.

Мы смотрели друг на друга секунду, две, три.

Потом ты слегка кивнула. Я кивнул. Ты отвернулась к витрине.

Я мог уйти.

Я не ушёл — подошёл. И мы говорили о чём-то совершенно незначительном, о том, что в этом магазине плохой выбор, что зима в этом году ранняя, что ты здесь ненадолго. Говорили, как говорят люди, у которых нет ничего общего, кроме одного прежнего вечера. И я не подходил слишком близко, и ты не открывалась, и это было правильно, и это было нормально, и я мог с этим уйти, пожелать тебе хорошего дня и больше не искать тебя глазами ни в каком зале.

Мог.

А потом я увидел тебя ещё раз. Не помню где — или помню, но это не важно. Важно то, что каждый раз я мог не подойти. Мог отвести взгляд первым. Мог вспомнить про телефон, отвернуться, найти причину. У меня были причины — готовые, весомые, настоящие. У меня была жена дома, которую я не переставал любить — или привык любить, или не знал разницы, и до сих пор не знаю. У меня была жизнь, которая была нормальная жизнь, без пробоин.

Но я подходил.

Каждый раз. Снова и снова. Как будто пространство между нами сокращалось само, а я только не мешал.

Девушка в красном, я спрашиваю себя сейчас — той ночью, в этой темноте — мог ли я остановиться? Не на первой встрече, не в тот вечер с бокалом — позже, в те несколько недель, когда всё ещё было только взглядами и кивками и незначительными словами у чужих витрин? Мог ли я тогда выбрать иначе?

Я не знаю.

Это не отговорка и не попытка снять с себя вину — это правда: я не знаю. Может, мог. Может, в какой-то момент всё ещё была точка, где можно было развернуться и идти домой насовсем, и это ничего бы не стоило, и через месяц я бы думал о другом. Может, такая точка была — и я её прошёл, не заметив, как проходят отметку на дороге, которую видно только в зеркале заднего вида, уже потом, уже после.

А может, не было никакой точки. Может, всё было решено в ту секунду, когда я стоял с пустым бокалом в центре зала и смотрел тебе вслед, и знал — хотя и не называл это так, — что это не конец встречи без продолжения.

За окном тихо. Жена спит.

Я сижу и не нахожу ответа — и, наверное, уже не найду. Потому что вопрос «мог ли я остановиться» не имеет смысла без другого вопроса, который я боюсь задать себе вслух: хотел ли я остановиться?

* * *

Девушка в красном, я не знаю, как это началось.

Это неправда — я знаю. Просто слова «я знаю, как это началось» требуют, чтобы я признал: в какой-то момент я принял решение. Не вслух, не назвав его по имени, но принял. И признавать это — всё равно что держать в руках что-то горячее и не иметь возможности положить.

Был поздний вечер. Середина ноября, наверное, — или начало, я не помню точно, помню только, что темнело рано и снег ещё не лёг, но земля уже промёрзла и звучала иначе под ногами. Мы оказались в небольшом кафе, которое закрывалось через час, — не сговариваясь, не планируя, как это бывает, когда идёшь куда-то с человеком просто потому что не нашёл повода не идти. У нас не было повода. У нас были полупустые стаканы и свет, который был слишком тёплым для такого холодного вечера.

Ты держала стакан двумя руками — я это запомнил, не знаю зачем. Не за ножку, не небрежно, а обеими ладонями, как будто он был чем-то, за что стоит держаться. Смотрела не на меня — чуть в сторону, туда, где за тёмным стеклом проходили редкие люди и горели огни чужих окон. Ты не говорила. Ты просто была — рядом, в той же темноте, с тем же теплом стакана в ладонях, — и это молчание было таким плотным, таким намеренным, что я понял: это не пустота, это приглашение.

Я мог сделать вид, что не понял.

Я не сделал.

Я не помню, что мы говорили по дороге. Помню, что говорили — о чём-то незначительном, как всегда, как будто между нами были только слова и ничего под ними. Помню, что на

улице было очень тихо, и этот город, который я знаю наизусть, вдруг стал чужим — или я стал в нём чужим, не знаю. Помню, что ты шла чуть впереди и не оглядывалась.

Потом была комната. Тёмная — ты не зажгла свет, и я не спросил. Откуда-то снаружи сочился неяркий уличный отсвет, и я видел тебя в нём не целиком, а фрагментами: плечо, профиль, руки. Ты сняла пальто, не глядя на меня, повесила его на спинку стула. Это было такое обыкновенное движение, такое домашнее и простое, что у меня перехватило что-то — не горло, не дыхание, что-то глубже.

Мы оба вели себя так, будто это просто так.

Будто это — просто вечер, просто тепло, просто двое людей, которым холодно снаружи. Будто утром всё встанет на место само, и это не придётся называть, и это не придётся помнить, и это не придётся носить.

Мы оба знали, что это не правда. И оба молчали.

Ты не спросила о жене.

Девушка в красном, я ждал — не сознательно, но ждал. Ждал, что ты скажешь что-нибудь, что сделает это невозможным, что поставит стену словами, которые не позволят мне переступить. Ты не сказала. Ты только посмотрела на меня — один раз, прямо, — и отвела взгляд. И я не сказал ничего сам. Ни про дом, ни про то, кто ждёт, ни про то, что утром мне надо быть в другом месте. Я промолчал так, будто этого всего не существовало, — и это молчание стало первым нашим общим грехом. Не действие. Не слова. Именно это — пустое место, где должны были быть слова.

Мы оба согрешили молчанием. Это я знаю точно.

Под утро я лежал рядом с тобой и слушал, как ты дышишь.

Ты спала — или делала вид, что спишь, — и твоё дыхание было ровным и тихим, и в нём не было ни вопросов, ни требований, ни ничего, только этот звук, который стал вдруг самым важным звуком в комнате. Я смотрел в потолок. Снаружи начинало светлеть — не рассветать, а именно светлеть, чуть-чуть, самую малость, — и я думал: «Мне нужно встать и уйти».

Я думал это очень отчётливо. Думал, что сейчас встану. Что оденусь тихо, чтобы не разбудить тебя. Что на улице будет холодно, и это хорошо — холод отрезвит. Что я приду домой и лягу, и скажу, если спросят, что засиделся у приятеля. Что это ещё не катастрофа. Что всё ещё можно.

Я не вставал.

Я лежал и слушал твоё дыхание, и ещё час прошёл так — в этой серой тишине, в этом чужом свете, в этой теплоте, которую я не заслуживал, — и я не делал ничего, только дышал рядом с тобой и думал: вот сейчас встану. Вот сейчас.

Вот сейчас.

Я встал, когда ты ещё спала. Оделся тихо, как и собирался. Не разбудил. Не оставил ничего — ни записки, ни слова. Закрыл дверь за собой так осторожно, что она не скрипнула.

На улице было холодно, и это не помогло.

* * *

Это повторялось.

Вот что я хочу тебе сказать, девушка в красном, — не только о той первой ночи, не только о том, как я лежал и слушал твоё дыхание в сером предрассветном свете. Это повторялось. Снова и снова, с той осторожностью, с какой человек ходит по льду, зная, что лёд тонкий, но не останавливаясь — потому что остановиться страшнее, чем идти дальше.

Я помню детали лучше, чем помню дни. Дни сливались, терялись, путались — какой была среда, какой четверг, когда заканчивался октябрь и начинался ноябрь. Но детали остались чёткими, как будто выжженными. Темнота в твоей комнате — особенная, не городская, а какая-то твоя, личная, с одним узким полотном света из-под двери. Твои волосы на подушке рядом — я всегда просыпался раньше тебя, и они лежали так, без всякого порядка, тёмные

пряди на белом, и я смотрел на них и думал, что это, наверное, и есть самое красивое, что я видел в жизни, — не ты в красном платье, не ты с бокалом у окна, а именно вот это: твои волосы на подушке в темноте, в которой ты не следишь за собой и ничего не держишь.

Запах твоей кожи. Я не умею описать его — я пробовал, и всякий раз слова оказывались меньше, чем нужно. Что-то тёплое и лёгкое, чуть горьковатое к утру. Это запах был там всегда, каждый раз, и каждый раз я дышал им так, будто дышу в последний раз.

И мои ботинки у двери. Я всегда ставил их у двери — не у кровати, не там, куда удобно. У двери. Как будто часть меня уже стояла на пороге с самого начала, уже знала, что уйдёт, и говорила об этом этими ботинками, которые смотрели в сторону выхода.

Мы оба видели эти ботинки. Ни разу не сказали о них ни слова.

Каждая ночь заканчивалась одинаково. Я просыпался — или просто переставал притворяться, что сплю, — когда было ещё темно, или почти темно, или та серость, которую нельзя назвать ни ночью, ни утром. Вставал тихо. Одевался в темноте — по памяти, не включая свет, — нащупывал рукав, застёгивал пуговицы медленно, потому что торопиться было некуда, а не торопиться — больно, и нужно было что-то делать с руками в эти секунды. Подбирал ботинки от двери. И стоял там секунду. Или две. Или дольше — я не знал сколько.

В эти секунды у двери я не думал о жене. Я знаю, что должен был думать о ней — о доме, о правильном, о том, что есть вещи, которые нельзя отодвигать на потом бесконечно. Я не думал. Я думал о том, как не хочу уходить. О том, как тепло у тебя в комнате и как снаружи уже начинается холод, и что между этой темнотой, в которой ты дышишь, и той темнотой, в которую я сейчас выйду, — пропасть, которую я рою сам, своими же руками, каждый раз, когда открываю эту дверь. Я думал, что если бы мог — остался бы. Лёг обратно. Закрыв глаза.

Я думал это — и уходил. Каждый раз уходил. Не потому что был сильным. Потому что был слабым в другую сторону.

Однажды ты проснулась.

Я уже почти оделся — стоял спиной к тебе, застёгивал ремень, — и вдруг услышал, как ты пошевелилась. Я обернулся. Ты смотрела на меня из темноты — только глаза, только этот взгляд, спокойный и такой внимательный, каким люди смотрят на что-то, что уже понимают, но ещё не называют вслух.

Ты не сказала ничего.

Я тоже.

Я стоял там, с ремнём в руках, и смотрел на тебя, и знал, что сейчас нужно что-то сказать. Что-нибудь. Можно было сказать: «Иди спи». Можно было сказать: «Прости». Можно было сказать: «Не смотри на меня так, потому что я не могу остаться, но и уйти не могу тоже, и я не знаю, что с этим делать, и я боюсь, что ты тоже не знаешь».

Я не сказал ничего.

Ты отвела взгляд первой — медленно, без обиды, как будто просто устала держать его на мне. Повернулась чуть на бок. Закрывает глаза.

Я застегнул ремень. Подобрал ботинки. Открыл дверь.

Это молчание было тяжелее любого слова, которое я мог сказать. Тяжелее «прости», тяжелее «я остаюсь», тяжелее «я ухожу навсегда». Потому что оно не было ни тем, ни другим. Оно было пустотой там, где должно было что-то быть, — и мы оба это почувствовали, и оба промолчали, и это молчание осталось между нами, как воздух в закрытой комнате: сначала тёплый, потом тяжёлый, потом — нечем дышать.

Теперь, из этого настоящего, где я знаю, чем всё кончилось, я понимаю кое-что про то молчание. Тогда я говорил себе, что молчу ради тебя. Что слова причинят боль. Что если не называть — можно не разрушать. Что это защита — для тебя, для нас обоих, для того хрупкого, что было между нами и что рассыпалось бы от первого же громкого звука.

Я лгал себе.

Это была трусость. Обыкновенная, ничем не украшенная трусость — та самая, которая прячется за заботой, за деликатностью, за «я не хочу делать тебе больно». Я молчал, потому что слова потребовали бы от меня выбора. А выбор потребовал бы действия. А действие потребовало бы цены, которую я не был готов платить — ни в ту сторону, ни в другую.

Молчание не защищало тебя, девушка в красном. Оно защищало меня. От необходимости быть честным — с тобой, с женой, с собой. Молчание было самым удобным местом, где можно было стоять и не двигаться никуда.

Я занимал это место каждый раз. Каждую ночь. У каждой двери.

И ты смотрела на меня из темноты и всё понимала — я думаю, ты понимала гораздо раньше меня, — и тоже молчала. Может быть, из той же трусости. Может быть, из чего-то другого, чего я не умею назвать, потому что никогда не спрашивал. Никогда не спросил.

Ботинки у двери.

Волосы на подушке.

Твои закрытые глаза в темноте.

Это и был ритуал. Не слова, не обещания — вот это. Повторяющееся, молчаливое, тёплое и уже тогда, с самого начала, пронизанное прощанием, которое мы ещё не произносили вслух.

* * *

Была одна ночь, которую я помню отдельно от всех остальных.

Не потому что в ней случилось что-то особенное. Как раз наоборот — в ней не случилось ничего. Мы просто лежали рядом, не касаясь, и за окном шёл снег.

Я помню, как он падал. Крупный, медленный — не метель, не буря, а именно это: снег, который падает так, словно у него есть время. Словно он никуда не торопится. Комната была тёмная, только уличный фонарь снаружи давал слабый жёлтый отсвет, и в этом свете снежинки за стеклом были почти оранжевыми — горели по одной, прежде чем исчезнуть.

Ты лежала на спине, смотрела в потолок. Я — рядом, на боку, почти к тебе. Между нами было, наверное, полтора локтя пустого пространства — ни много, ни мало. Достаточно, чтобы не случайно коснуться. Слишком мало, чтобы не чувствовать тепло.

Это было в ноябре. Или в декабре. Я не помню точно — помню только снег и это молчание, которое было не тяжёлым, а каким-то усталым. Как будто мы оба давно устали от чего-то, что никак не можем назвать, и наконец разрешили себе просто лежать.

Потом ты что-то сказала.

Не мне — я понял это сразу. Вполголоса, почти про себя, глядя в потолок. Несколько слов — строчка, может быть, две. Что-то из книги, это я почувствовал по интонации: так цитируют, когда слова чужие, но болят как свои.

Я не знал этой книги. Я не спросил, что это.

Не знаю, почему. Может быть, испугался разрушить тишину. Может быть, просто не нашёл слов — как спросить? «Что это?» — слишком плоско для того момента. «Откуда это?» — ещё хуже. Можно было сказать просто: «Повтори». Можно было сказать ничего, только повернуться и посмотреть на тебя так, чтобы ты поняла — я слышу.

Я не сделал ни того, ни другого.

Ты помолчала немного, потом отвернулась к стене. Снег за окном всё падал.

Потом я жалел об этом. Не о том, что не спросил — о том, что внутри меня что-то промолчало, что-то испугалось, что-то решило: не надо. Эти слова — твои. Пусть будут твоими. И я оставил их тебе, но они не стали ближе — они просто повисли в том полтора локтей пустоты и растворились там, как дыхание в холодном воздухе.

Я до сих пор не знаю, что это было.

Иногда я думаю: может быть, именно в ту ночь ты поняла, что я не приду. Что буду лежать рядом, почти касаясь, смотреть, как ты смотришь в потолок, — и не приду. Не к тебе. Не по-настоящему.

А потом я почувствовал: сейчас.

Вот это слово — «сейчас» — оно возникло во мне, как что-то отдельное. Как будто кто-то другой произнёс его изнутри. Я лежал рядом с тобой, слышал твоё дыхание — ровное, медленное, ты почти засыпала, — и во мне что-то сказала: сейчас она услышит. Сейчас ещё можно. Снег, темнота, эта тишина, которая не требует ничего, кроме слов, — вот они, условия. Другого момента не будет.

Я открыл рот.

И закрыл.

Не знаю, сколько это длилось — секунду, меньше секунды. Снаружи проехала машина, на потолке скользнул белый отсвет фар и пропал. И я услышал собственный голос — чужой, лёгкий, как будто принадлежащий кому-то, кто не боится:

— Снег всю ночь, наверное.

Ты помолчала.

— Наверное, — сказала ты.

Вот и всё. Вот и весь разговор. Погода за окном — это то, что я нашёл вместо всего остального. Вместо: «Я не могу тебя отпустить». Вместо: «Я не знаю, что со мной происходит, но это больше всего, что я знал». Вместо: «Прочитай мне ещё раз — то, что ты только что сказала». Вместо твоего имени — сказанного именно так, как его надо было сказать той ночью.

Снег, наверное.

Наверное.

Момент прошёл. Ты не спала, но закрыла глаза — я видел по тому, как расслабилось твоё лицо: не сон, а просто решение не смотреть. Я лежал ещё несколько минут — смотрел в потолок, слушал, как падает снег, как ты дышишь, как тихо капает где-то в стороне вода, — и думал: ещё можно. Ещё не поздно. Ещё полтора локтя — это не расстояние.

Я не сказал ничего.

Теперь, из этого настоящего — из этого тихого, светлого, почти нормального настоящего, в котором я просыпаюсь рядом с другим человеком и делаю вид, что всё хорошо, — я могу сказать то, что не умел тогда.

Я убил тебя той ночью.

Не тебя — нас. То, что могло стать нами, если бы я не испугался собственного голоса.

Я знал, что убиваю. Не тогда — тогда я говорил себе: «Не время», «Она устала», «Завтра», «Потом», «Слова сделают хуже». Но сейчас я знаю: я знал. Что-то во мне знало очень точно, что этот момент — последний такого рода. Что снег и темнота и её строчка из книги, которую я не спросил, — это было единственное в своём роде сочетание, которое не повторится.

И я выбрал погоду.

Выбрал лёгкое. Выбрал безопасное. Выбрал то, что не потребует от меня ничего, кроме звука голоса в темноте, — потому что всё остальное потребовало бы цены. Выбора. Честности перед тобой, перед собой, перед тем, что было в полутора локтях между нами и что я так и не позволил себе назвать.

Девушка в красном.

Ты лежала рядом со мной, смотрела в потолок, читала мне строчку из книги, которую я до сих пор не знаю. А я спросил тебя о снеге.

Прости меня за это. Нет — не проси. Незачем. Ты не знаешь, что убивать, — а я знал и всё равно. Это разные вещи, и за это не просят прощения. За это просто живут потом — вот так, с этим, в тишине, в которой всё ещё слышится твоё «наверное» и скрип снега за стеклом и та строчка из книги, которую ты не досказала вслух, а я не спросил.

Снег шёл всю ночь.

Я уехал под утро. Ты не провожала — притворялась, что спишь, или правда спала. Я не знаю. Я не стал проверять. Вышел тихо, закрыл дверь так, чтобы не щёлкнуло — осторожно, как будто это имело значение. Как будто она не щёлкнула уже давно — внутри, той ночью, когда я выбрал погоду вместо тебя.

* * *

Я вернулся около шести.

Снег к тому времени перестал, но небо оставалось тем же — глухим, серым, тяжёлым, как будто оно тоже не выспалось. Дорога была пустой. Я ехал медленно — не потому что скользко, а потому что не хотел приезжать. Не к ней — не к тебе. Домой. Я не хотел приезжать домой.

Машину поставил в двух кварталах, хотя мог у подъезда. Это была не осторожность. Это была пауза — последние несколько минут, когда я ещё был собой. Тем, который лежал рядом с тобой и слушал снег. Потом нужно было стать другим.

Я вошёл тихо. Снял куртку в прихожей, повесил на крючок — тот же крючок, та же куртка, всё те же движения, которые я совершал тысячу раз. Прошёл на кухню. Открыл кран, намылил руки, смотрел, как вода стекает по пальцам, — долго, дольше, чем нужно. Зеркала над умывальником у нас не было — только полка с мылом и маленькая свечка, которую жена покупала для запаха. Свечка была догоревшая. Я это заметил и ни о чём не подумал.

— Ты рано.

Она стояла в проёме — в большом свитере, в котором спала, волосы собраны на скорую руку, стакан с чаем в обеих руках. Голос был тихий, без упрёка — просто констатация.

— Не спалось, — сказал я.

И голос прозвучал нормально. Вот что меня поразило тогда и что продолжает поражать сейчас: он прозвучал нормально. Не напряжённо, не надломлено — просто нормально, как будто я сказал правду, а не её совершенно точную противоположность.

Она кивнула. Прошла к плите, поставила чайник.

— Я думала поехать к маме сегодня. Если дороги нормальные.

— Дороги нормальные, — сказал я.

— Ты поедешь?

— Нет. Дела.

Она снова кивнула. Достала из шкафа вторую кружку — для меня, не спрашивая, потому что знала: я после дороги всегда хочу чаю. Она знала это. Она знала меня — настоящего, того, который жил в этой квартире, ел за этим столом, ставил кружку на это блюдце. Того, которого я умел изображать без единой фальшивой ноты.

Я сел. Она что-то говорила — про маму, про то, что надо бы заехать в магазин, про какую-то мелочь, которую я не запомнил. Я слушал. Кивал. Иногда говорил что-то короткое, и это тоже звучало правильно, попадало в нужные паузы. Мы разговаривали — совершенно обычно, как всегда, как сотни раз до этого утра и сотни раз после.

Потом она поставила передо мной кружку и взялась за свою, и я увидел её руки.

Маленькие руки. С короткими ногтями без лака. Суставы немного красные — от горячей воды или от мороза, я не знал. Она держала стакан обеими руками, грея ладони, — простой жест, который я видел тысячу раз и который вдруг сделался острым, почти невыносимым.

Я не знаю, как это назвать — то, что я почувствовал. Это не было раскаянием. Не было любовью. Это было что-то между, в промежутке, где не живут слова — что-то, что сжалось в груди и осталось там, не разрешившись ни во что.

Она убрала прядь за ухо и что-то сказала — я не расслышал.

— Что? — спросил я.

— Снег красивый был ночью. Я видела, как падал.

— Да, — сказал я. — Красивый.

Я смотрел на её руки и думал о том, предавал ли я её. Думал — и не мог найти ответа, который был бы честным. Предательство, наверное, требует выбора. Требует момента, когда ты стоишь перед двумя дверями и сознательно открываешь не ту. Но я не помню такого момента. Я не помню, когда именно я решил. Я просто однажды оказался в ситуации, из которой уже не было обратного пути, — и шёл по ней дальше, говорил «доброе утро», кивал в нужных местах, ставил кружку на блюде.

Может быть, я предавал её. Может быть, себя. Может быть, обоих. Может быть — и это самое страшное, что я думал тогда, что думаю до сих пор, — может быть, никого. Если предательство требует выбора, а я так и не выбрал — то что это было? Трусость? Инерция? Просто жизнь, которая случается, пока ты не смотришь?

Я не знаю.

Её руки на кружке. Маленькие, тёплые, привычные.

За окном светало — медленно, нехотя, как будто этому дню тоже не хотелось начинаться. Я пил чай. Она рассказывала что-то про маму. Где-то в двух кварталах стояла моя машина, и в ней ещё держался запах твоих духов, девушка в красном, — но здесь, за этим столом, в этом утреннем свете, всё было как всегда.

Вот что самое страшное — что всё было как всегда.

Что я умел так хорошо.

* * *

Я лежу в темноте и слушаю, как она дышит.

Ровно. Тихо. С тем особым спокойствием, которое бывает только у людей с чистой совестью — или у людей, которые устали настолько, что совесть отступает до утра. Одеяло поднимается и опускается. За окном — ни луны, ни снега, просто темнота, плотная и глухая, как вата в ушах.

Я лежу и думаю о тебе.

Так всегда. Так было тогда, так есть сейчас — я не знаю, изменится ли это вообще когда-нибудь, или это просто теперь часть меня, как шрам, который уже не болит, но и не исчезает, и рука сама тянется к нему в темноте.

Девушка в красном, ты никогда не спрашивала, почему я ухожу.

Каждое утро — я поднимался. Натягивал то, что снял накануне. Смотрел на тебя секунду, две — ты дышала так же, как она сейчас, ровно и тихо, только немного иначе, только чуть быстрее, как будто даже во сне ты была наготове, как будто тело твоё не верило до конца, что можно расслабиться. И я уходил. И ты не спрашивала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.